

АНДРЕЙ УБОГИЙ



РУКОПИСЬ

РОМАН

Летом 20... года, по технической необходимости произведя высадку на необитаемом острове, расположенном в запретном квадрате “124-М”, сотрудники североморской геологоразведочной экспедиции “Шельф-XXI век” обнаружили следы пребывания здесь человека и четыре тетради, содержащие дневниковые записи. В ходе трёхчасовых поисков автора дневников, ни живого, ни мёртвого, обнаружить не удалось. Был ли он снят с острова каким-либо случайным судном и в суматохе спасения забыл взять эти тетради, или он всё же погиб — так и осталось невыясненным. Более того: не исключено, что записи, отрывки из которых мы предлагаем читателям, есть плод досуга одного из участников экспедиции “Шельф-XXI век” и являются, таким образом, литературной мистификацией. Но поскольку эти дневники содержат некоторые любопытные сведения о психологии и поведении человека, оказавшегося в экстремальных условиях, редакция альманаха сочла возможной публикацию отрывков из сочинения, происхождение которого так и осталось невыясненным.

Альманах “Зори Севера” от 22.07.20... года

УБОГИЙ Андрей Юрьевич родился в 1963 году в Калуге. Хирург. Автор нескольких книг прозы. Пишет также критические статьи. Член Союза писателей России. Член Общественного совета журнала “Наш современник”. Лауреат премии имени В. В. Кожина за 2004 год. Живёт в Калуге.

Ну, не безумец ли я? Оказавшись на необитаемом острове, в одном шаге от смерти, я так обрадовался вот этой случайно найденной стопке чистых тетрадей, как будто нашёл что-то полезное: топор, нож или, скажем, рыболовную сеть. И вот я сижу и царапаю что-то на этих страницах вместо того, чтоб воспользоваться отливом и насобирать мидий или наловить в лужах шустрых креветок.

Даже есть расхотелось — до того мне, оказывается, было важно излить на бумагу то, что случилось. Ведь я до сих пор, если честно, не верил, что это всё происходит со мной, и что мне не снится вот этот обрывистый берег с полосой белого песка под серыми скалами, эти лужи, сверкающие по полосе отлива, эти круглые камни в воде, похожие на тюленьи головы, а там, дальше, до самого горизонта, не снится рябая, горящая бликами солнца поверхность пустынного Белого моря. Мне всё казалось: я вот-вот проснусь и опять окажусь в привычной мне жизни, из которой меня так грубо и неожиданно вышвырнула судьба.

Иногда же, напротив, казалось, что сновидением была как раз вся моя прежняя жизнь: институт, общежитие, кафедра, мои книги и микроскопы, что всё это было лишь странным, навязчиво возвращавшимся сном, а на самом-то деле моя жизнь всегда состояла из поиска дров, разведения костров, блужданий по тундре в поисках ягод, грибов или птичьих яиц, из усилий согреться, когда налетали шторма и дожди, а потом из блаженных валяний на солнце, на тёплых камнях, — иными словами, вся моя жизнь проходила только на этом вот острове, где я с рождения знал только камни, орущих чаек-поморников, ветер да море.

Дошло до того, что я перестал понимать, где же именно я нахожусь: где реальность, а где мои грёзы, где граница между воспоминанием, сном и действительной жизнью? Пожалуй, я и в самом деле был близок к безумию. Особенно страшно бывало перед рассветом. Настоящей-то ночи летом здесь не бывает, и солнце уходит за горизонт лишь на час-полтора, но и сумерек мне хватало, чтоб впасть в состояние ужаса. Только, бывало, забудешься зыбким, поверхностным сном, уйдёшь в грёзы о прошлом, как тебя грубо выдёргивает обратно в реальность истошный крик чайки или плеск камня, сорвавшегося со скалы. Подскачив, протирая спростонья глаза, сразу не можешь понять: где же ты? Ещё там, в мире снов, где всё так понятно, привычно и близко, или в этой чужой и постылой реальности? В сумерках всё неоформленно-зыбко, размыто; окружающий мир пока словно и сам для себя не решил, каким ему быть, и ты остро чувствуешь, что в этом ещё не вполне пробудившемся мире тебе-то уж точно нет места. Опять закрываешь глаза и сжимаешься во внутриутробную позу, стараясь как будто догнать ускользавшие сны, но реальность, однажды схватив, больше не отпускает тебя...

И только вот эти тетради позволили мне удержаться в пределах рассудка и здравого смысла. Когда-нибудь после я опишу, как бродил по развалинам брошенной базы и находил там немало полезных вещей, от зажигалок до бочек из-под солярки; но лишь четыре больших чёрных тетради, попавшихся мне в разорённом вагончике метеослужбы, по-настоящему обрадовали меня. Показалось: теперь-то я точно смогу привести свои мысли в порядок, смогу описать все события, как я их помню, смогу отделить сны и грёзы от того, что со мною действительно было, и теперь моя полубезумная жизнь наконец-то начнёт выправляться. Я пойму, может быть, зачем же судьба так жестоко надо мной посмеялась, и это, возможно, приблизит минуту спасения, в которое я ещё верю и поэтому целыми сутками не свожу глаз с пустынной черты горизонта.

Оттуда, где я сижу и пишу, видно, в основном, море: до самого горизонта блестит его рябь. И кто, интересно, назвал его Белым? Ведь оно почти всегда чёрное; чуть светлеет вода лишь на отмелях, там, где в безветренно-

тихие дни начинает просвечивать дно. Если долго смотреть, начинает казаться, что море не просто уходит от берега вдаль, а будто вздымается вверх. Словно сидишь на дне зыбкой ямы, чьи склоны шевелятся, дышат, а по фиолетовой их черноте там и сям распускаются хлопья пены. Зрелище этой вздымающейся и опадающей зыби, на которой присевшие белые чайки похожи на пену, а пена похожа на чаек, вызывает волну тошноты, и я перевожу взгляд на серые скалы, которые тоже какое-то время качаются и куда-то плывут. Видно, ещё слишком памятно то, как меня двое суток носило по волнам в резиновой лодке, и я не могу смотреть на море долго.

Но и совсем отвернуться от моря мне тоже нельзя: вдруг я пропущу проходящее судно и не успею зажечь сигнальный костёр? Поэтому всё свободное время, когда я не занят добытием пищи и топлива, я провожу под скалой, в этой нише, где можно укрыться от ветра, и мой взгляд то шарит по зыбкому морю, то отдыхает на твёрдых, надёжных округлостях береговых валунов.

Что, кроме моря, могу я увидеть отсюда? Ну, во-первых, ту полосу берега шириной метров триста, которую ещё нельзя назвать вполне сушей: в прилив её покрывает вода, и море подходит вплотную к скальным обрывам. А в отлив море уходит, и на литорали (так называется эта часть берега) блестят множество луж, чернеют округлые камни, и сочатся водой вороха бурых водорослей. Литораль — моя кормилица: вряд ли бы я смог выжить, не будь у меня возможности каждый отлив собирать здесь мидий, вылавливать в лужах креветок, а то и приколоть острой палкой зазевавшуюся камбалу.

Прибрежные скалы — прибежище чаек. А поскольку я долгое время воспринимал всё на острове только с одной точки зрения: нельзя ли там раздобыть пропитание? — то я совершил-таки несколько рейдов к колониям чаек, надеясь разжиться там яйцами. Но риск сорваться со скал и свернуть себе шею был настолько велик, что, конечно, не стоил добычи — той дюжины пёстрых яиц, что я мог отыскать на обветренных скальных площадках. И потом, эти наглые чайки-поморники, завидев меня, поднимали такой дикий ор, да ещё умудрялись гадить мне прямо на голову, что я скоро оставил чаек в покое. Правда, они, эти бестии, долго не оставляли в покое меня, пока я не нашёл способа их отвадить.

От береговых скал начинается пологий склон тундры, покрытой камнями и ягелем. Сейчас, в начале лета, тундра очень красива. Всё, даже камни, пестреет цветами. Ярче всех жёлтые маки и лютики; кое-где среди пятен жёлтого нежно светит и голубизна: это мелкие колокольчики и незабудки. Но всё же главный здесь цвет — серо-зелёный: он дымчато-нежный, живой, и глаза отдыхают на нём после волн фиолетово-чёрного моря.

Здесь, на побережье, белеют поля серебристого ягеля, а среди них — чуть более тёмные пятна исландского мха. Дальше вглубь острова начинается стланик из ивы. Карликовые деревья едва достигают колена, и ходить по ним трудно: нога увязает в пружинящем, цепком сплетенье ветвей. Приходится выбирать путь по проплешинам: грядкам камней или руслам ручьёв. Если забраться вон на ту горку, можно увидеть весь остров сразу: с озером, на котором кормятся стаи уток, гусей, куликов, с берёзовым лесом в низине, и с увалами дальних холмов, что полого спускаются к морю. Остров вытянут с севера на юг; в длину он, я думаю, километров пять-шесть, а в поперечнике — вдвое меньше. За лесом, который укрылся от ветров в низине, где берёзы поэтому достигают почти нормальной высоты, — развалины военной базы, но их отсюда не видно.

Весь месяц над островом стоял несмолкающий гвалт птичьих стай: казалось, что гудит сам воздух. В этом гуле слышны то трубные крики гусей, то надрывное кряканье уток, то свист куликов, то горластые, склочные вопли дерущихся чаек и крачек. Сейчас, правда, стало потише — то ли я попривык к этим звукам, то ли многие птицы утомонились и сели на гнёзда? — но всё равно круглые сутки воздух над островом всё ещё гудит и трепещет от тысяч носящихся птиц. Порою этот шум заглушает даже шум моря, но всего поразительней то, что ни море, ни птицы не нарушают безмолвия острова. Порою я, как контуженный, зажимаю уши руками и трясу головой, но мне некуда скрыться от оглушительной тишины...

Зовут меня Олег Лыков, мне почти тридцать два года. По профессии я микробиолог; ещё учась в мединституте, я занимался на кафедре у старика Шевелёва, и к последнему курсу у меня почти готова была диссертация. Тема: “Бактериальные плёнки” — та, которой ныне никого особо не удивит, — в те годы была ещё толком не разработана, и молодым учёным в ней было раздолье. Защитился я в двадцать пять лет: неплохо для парня из курской глубинки. Хотел сразу, по горячим следам, приниматься за докторскую, но тут дело застопорилось. Во-первых, умер старик Шевелёв, мой учитель, а новый завкафедрой сразу меня невзлюбил — видимо, чувствовал во мне конкурента. А во-вторых, для дальнейшей работы была нужна аппаратура, которой наша скромная провинциальная кафедра не имела. Я уж подумывал, не перебраться ль в Москву, но кому я был нужен в столице? Тут, в провинции, у меня хоть была своя комната в общежитии, были друзья и подруги, да и место старшего ассистента кафедры на улице, как говорится, не валялось. Впрочем, мои кафедральные обстоятельства никому на свете неинтересны, а мне самому они известны и так; поэтому больше распространяться о них я не буду.

Тридцать лет мне исполнилось в тот самый день, когда умерла моя мать. Хорошо хоть, страдала бедняжка недолго — инсульт был обширным, — и я остался круглым сиротой. Отца я не помню совсем: он бросил нас с матерью, когда мне был год с небольшим. Доходили слухи, что он ещё дважды женился, а потом якобы спился и наложил на себя руки в пьяном бреду; но достоверно мне ничего об отце не известно.

Так вот я и остался один на всём белом свете. Но одиночество, правду сказать, не сильно меня тяготило. То ли не пришло ещё время обзаводиться семьёй, то ли по натуре я был волк-одиночка; но едва я пытался представить кого-нибудь из своих подруг в роли жены, то есть ежедневного и неотвязного спутника жизни, как на меня нападала тоска. Нет уж, думал я, погуляйка, Олег, на свободе...

Вот эта самая тяга к свободе вместе с желанием подзаработать и привела меня на Соловки. Как раз перед летним отпуском я оказался без гроша в кармане и с радостью принял предложение одной медицинской фирмы поработать у них консультантом. Москвичи затеяли интересное дело: возродить на Соловках производство агар-агара, из которого делают лабораторные среды для выращивания бактерий. Когда-то агар-агаром, как и вообще изучением водорослей, занимался философ Павел Флоренский; и вот, спустя почти век, я по доброй воле поехал в места, где томился в лагере знаменитый учёный.

Оказалось, однако, что на Соловках мне как микробиологу-консультанту делать пока что нечего: производство ещё не наладили, и оценивать качество лабораторных сред было рано. Но договор, по которому должны были выплатить мне деньги, составили как-то по-идиотски: я обязан был провести на агаровом комбинате минимум три недели, и лишь тогда со мной могли рассчитаться.

Что было делать? Острова, со всеми их чудесами, я осмотрел за несколько дней. Потом ещё пару дней порыбачил с местными пьяницами — как раз шла треска — и узнал от них кое-что интересное о беломорской флоре и фауне. Вообще, Белое море и Север сильно подействовали на меня. Я никогда раньше не был в этих местах, и теперь ощущение сказки — суровой и ветреной северной сказки — всё сильнее западало мне в душу. Особенно Заяцкий остров с его лабиринтами, бухтами и валунами, с коврами лишайников на обветренных плоских камнях, с пирамидами-сейдами, что остались от древних саамов, — всё пробуждало во мне ощущение, что я всё это видел когда-то. Возможно, в глубинах моей души давно жил этот остров — то ли как память о прошлых, уже мною прожитых жизнях, то ли как предсказанье того, что ещё ожидало меня впереди.

Это странно, но необитаемый остров, на котором я оказался и где пишу сейчас эти заметки, похож на Заяцкий остров, как две капли воды. Может быть, для географа ничего в этом странного нет — острова одной климати-

ческой зоны и должны быть похожи, — но для меня в этом сходстве есть нечто важное. Как будто судьба меня предупреждала, заранее мне показав декорации моей будущей — то есть перепешней — жизни. Но не значит ли это, порой думаю я, что наш путь предначертан, что нас словно ведёт некая рука, и тот, кому эта рука принадлежит, заранее знает, к какому финалу должна подойти та сумбурная пьеса, которая называется “жизнь”?

Но я отвлекаюсь. Самое время теперь рассказать, как я познакомился с зеленоглазой красавицей Ингой.

4

День был ветренный, очень холодный. Уже и не вспомнить: зачем я пошёл в магазин? Но это неважно; важно, что именно там я встретил Ингу — свою, можно сказать, судьбу.

Я бы и не обратил на эту компанию особенного внимания, не оказался среди парней в зелёных штормовках высокой зеленоглазой блондинки. Они как раз выходили из магазинчика “Остров” с шампанским и хлебом в руках — и девушка вдруг засмеялась. Её смех был отрывисто-резким, напоминавшим крик чайки. Я обернулся и посмотрел на неё. Да, в самом деле, красавица: черты лица словно точёные, кожа белая, пряди светлых волос треплет ветер. “Настоящая королева викингов”, — подумал я.

Чем-то меня поразили и ответный взгляд незнакомки: от него исходило знобящее, словно от сквозняка, ощущение. Бывают такие, неуловимо-скользящие, взгляды: когда человек смотрит в упор, но в то же время и наискось, как-то мимо тебя. Вот и Инга смотрела обманным и ускользящим взглядом. Это уж после я понял, что Инга немного косила; но в первый миг меня прямо околдовали эти холодновато-зелёные, ясные и равнодушно скользящие мимо глаза. Показалось: я должен, я просто обязан остановить на себе её равнодушно-насмешливый взгляд!

Познакомиться с молодой развесёлой компанией было несложно: оказалось, это питерские зоологи. Минут через двадцать мы уже были на биостанции и пили “северное сияние”, то есть спирт, разведённый шампанским. Это ужасное пойло сносит голову напрочь; но даже сильнее, чем спирт, на меня действовал хрипловато-грудной голос Инги, её резкий смех и её шальная взгляд. Каждый раз, когда меня вскользь касались два этих зеленовато-кошачьих огня, по спине пробегали мурашки, делалось весело и жутковато и хотелось, чтоб Инга взглянула ещё.

Но проще, наверное, было поймать ветер, чем надолго остановить на себе её взгляд. Я, правда, старался изо всех сил — балагурил, рассказывал всякие глупые байки, — так что питерцы, помню, уже и за животы хватались от смеха. В тот день я, действительно, был в ударе: скоро даже и Инга кричала сквозь приступы общего хохота:

— Олег, прекрати! Я уже не могу...

Любуясь Ингой, всё больше хмелея, я, помню, думал: вот если бы у судьбы могло быть лицо — оно бы, верно, напоминало лицо этой северной холодноватой красавицы. Что-то неумолимо жестокое было в правильных, резких чертах её бледного лика; Инга казалась одновременно доступной — и недостижимой, одинаково благосклонной ко всем — и равнодушной к любому. Ничья, словно ветер, она могла выстудить душу, околдовать, закружить, а потом с беспощадною лёгкостью бросить, как ветер бросает на землю сухие листья.

Но тогда, во хмелю, среди молодого и всё более раскованного веселья, я не очень-то вслушивался в эти свои ощущения и мимолётные мысли. Спирт всё сильнее туманил мне голову, и глаза Инги — или это только казалось? — всё чаще задерживались на мне...

...Насчёт её равнодушной доступности я, оказалось, не ошибался. В тот же вечер — верней, уже ночью — мы с Ингой оказались в одной постели. Не знаю уж, кто был виноват — то ли зеленоглазая эта колдунья, то ли “северное сияние”, — но всё уплывало в моей голове и во взгляде: смутно белевшие стены, зеркальный мерцающий шкаф, искажённый прямоугольник

окна, а подо мною качались ритмичные волны упругого женского тела. Они уносили меня неизвестно куда: они то стихали, и я почти засыпал на их мерной зыби, то опять начинали вздыматься размашистей, выше — и вот уже женские стоны плескались в ночи, как резкие крики встревоженных чаек...

Меня уносил сильный северный ветер по имени Инга. По сути, мой путь на остров начался даже не с мыса Белужий — это было потом, уже утром, — а с этой вот ночи, когда я забыл, где я нахожусь, и куда, подхватив так внезапно, уносит меня эта мерная зыбь бесконечно-бездонного женского тела?

Утром, когда я очнулся и встал, меня ещё сильно штормило. Инга спала, как убитая — я едва смог её растолкать.

— А, это ты... — равнодушно зевнула она и вдруг рывком села. — Блин, я ж совсем позабыла!

— О чём?

— Я сегодня дежурю... — застонав, Инга снова упала в постель. — Да пропади они пропадом, эти белухи!

Оказалось, что каждый из питерцев должен по несколько смен отсидеть на Белужьем мысу, пересчитывая кормящихся там китов, и сегодня была как раз очередь Инги. Я её пожалел — похоже, ей было действительно плохо, — и предложил сходить на мыс вместо неё.

— Правда? — лицо её озарилось улыбкой. — Олег, ты просто супер!

И она, не дождавшись, пока я уйду, тут же снова заснула.

5

На Белужьем мысу меня встретил ветер, скрипящая смотровая вышка и неопрятное пенное море. Пункт наблюдения был на небольшом островке: сейчас, по малой воде, я легко проходил туда посуху. Для того чтоб вернуться обратно в прилив, нужна была лодка: метров сто мелководья отделяло тогда островок от поросшего чахлой, кривою берёзою берега. Зоологи это всё мне объяснили и дали ключ от сарая, где хранили резиновую лодку.

По лужам, по скользким водорослям — их ленты тащились за ботинками, как бурые змеи, — я доволком лодку до островка, уселся в неё поудобнее и приготовился наблюдать за белухами. Забираться на смотровую вышку было после вчерашнего точно б стошнило. Не будь дурак, я захватил с собой две банки пива и с наслаждением, глядя на серые волны, прихлёбывал этот животворящий напиток. Головная боль скоро прошла — да и ветер, тянувший над берегом, помог мне взбодриться. На душе было, правда, как-то нехорошо: ночь, проведённая с Ингой, оставила сложные чувства, в которых пока не хотелось копаться и разбираться, но, с другой стороны, кому может быть хорошо после “северного сияния”? Похмелье на то и похмелье, чтоб мучиться чувством вины и тревоги; а пиво на то и дано, чтоб смягчить это чувство разлада с собою и с миром.

Как известно, на старые дрожжи пиво действует так, что уже через десять минут я был снова пьян — и, развеселившись, стал бросать налетающим чайкам куски хлебного мякиша. Сейчас я бы дорого дал за то, чтоб самому съесть тот хлеб, но тогда я лишь хохотал, наблюдая, как чайки орут и дерутся над самой моей головой.

Белух я так и не увидел: в такую погоду, при сильной волне, они не хотели кормиться. Когда хлеб закончился и мне нечем стало приманивать чаек я швырнул в воду пустые пивные жестянки, и долго и тупо смотрел на шумящее море. Зыбь пенных волн усыпляла, укачивала меня. Хоть лодка, в которой я полулежал, и стояла на твёрдых камнях, мне казалось, что я уплываю куда-то, что двигаюсь в такт колыбанию серых, ритмично вскипающих, волн. Потом я заснул: сказала бессонная бурная ночь. Но та же самая ночь мне и снилась: волны женского тела качали меня, а крики, напоминавшие крики чаек, опять раздавались во тьме. И так же, как ночью, я не вполне понимал: где же я нахожусь? Порою мерещилось, что меня вообще уже нет, что я растворился в ночи — и осталась лишь череда поднимавшихся и опадающих волн, крики чаек да посвисты ветра...

Когда я проснулся в качавшейся лодке, то ни берёз, ни смотровой вышки уже не увидел. Спяну я не сразу сообразил, что прилив поднял лодку и ветер понёс меня, спящего, от Соловков. Но даже тогда, когда я это понял, страх ещё не коснулся меня. Казалось, что сон ещё длится, и обманная ночь всё не хочет меня отпускать. Вдруг меня окатило волной, я рывком поднял голову и увидел, что берег уже далеко, и что в лодке нет вёсел...

6

На какое-то время я оцепенел и не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Если б не это оцепенение, я, может быть, бросился бы в воду и попытался добраться до берега виллав. Но пока я решал, как же быть, расстояние между мною и берегом так увеличилось (ветер дул всё сильнее, и волны вздымались всё выше), что попытка плыть против ветра и волн была бы самоубийством.

Потом я закричал, и кричал, пока не охрип, но кто, кроме чаек, мог слышать мой вопль? Я и сам-то сквозь шум ветра и волн едва слышал собственный крик.

Мало того, что я вдруг осознал всю безнадёжность положения, в котором оказался по собственной дури; но я живо представил себе всё то, что мне предстояло пережить в ближайшие несколько суток, — и выражение “волосы встали дыбом” было бы слишком мягким, чтобы выразить ужас, который меня охватил. Мысли металась — металось и тело. То, приподнявшись над бортом качавшейся лодки, я смотрел в сторону удалявшейся суши — Большой Соловецкий остров был уже едва виден, — то падал ничком, ощущая, как под мокрым резиновым дном ходит зыбкое море. Нигде мне не было ни утешения, ни надежды. Сердце то билось отчаянно, так, что, казалось, оно вот-вот выскочит из груди, то замирало, как будто его сжимала чья-то холодная рука...

Что было потом, после первого приступа паники, помню смутно. Кажется, я впал в ступор. Как, случается, люди теряют сознание от запредельной, превосходящей их силы боли, так и душевные муки, когда они слишком сильны, вызывают что-то вроде прострации. Лёжа на мокром резиновом дне поднимавшейся и опадающей на волнах лодки, я тупо смотрел, как надо мною качается мутное небо, и как быстро несутся куда-то седые, лохматые космы растрёпанных туч. Порою там, в небе, мелькала чайка, порою я видел гребень пенной волны, и меня обдавало холодными брызгами. Но, в целом, казалось, что всё это вижу и чувствую вовсе не я, а другой человек, о котором я знаю лишь то, что ему очень сильно не повезло и что он, вероятнее всего, скоро погибнет. Но теперь эти мысли не вызвали прежнего ужаса: они, как и мой затуманенный взгляд, потускнели. Той порой, как меня уносило куда-то на северо-запад, я почти перестал ощущать себя в настоящем: так, бывает, люди перестают чувствовать вкус или запах. Я словно выпал из реального времени в некую нишу, где не было мыслей и чувств, не было даже желаний, а было одно: монотонно вздымавшийся и опадающий лодочный борт с пустою дырою уключины, о которую время от времени разбивается в брызги волна...

Но, может быть, раз меня не было в настоящем, я жил в своём прошлом, в воспоминаниях? Нет, и в прошлом меня тоже не было. Воспоминания в эти минуты — вернее, часы: их прошло уж немало с тех пор, как меня унесло в море, — воспоминания тоже оставили меня, они словно бы позабыли обо мне. Так что не верю я тем, кто нас убеждает: на краю смерти человек, дескать, вспоминает всю свою жизнь до последней минуты. Ни о чём я не думал и ничего не вспоминал. На дне лодки лежало тупое, безвольное существо, потерявшее даже способность испытывать страх. Это был, в сущности, полутруп — несмотря на то, что сердце его ещё продолжало стучать, а лёгкие продолжали вдыхать сырой, мглистый воздух.

Оцепенение длилось, как я проверил потом по часам, почти сутки. Разбудил меня дождь. Я вдруг ощутил на губах непривычную пресную влагу — и, глянув за борт, увидел, что притихшее море изрыто дымящею, крупною оспую ливня. Нестерпимая жажда проснулась во мне. Я догадался снять

куртку и свитер, стянул даже майку и разбросал всю одежду по лодке, чтоб она посильней напиталась дождём. Ливень был, мне на счастье, силен и достаточно долог: я успел несколько раз жадно выжать себе в пересохшее горло набрякшую влагой одежду. Потом я попробовал выпить и то, что плескалось по днищу резиновой лодки, но там вода была горько-солёной, и пить её было нельзя.

Дождь меня спас: он не только меня напоил, но и пробудил желание жить и способность о чём-либо думать. Утолив жажду, я принялся соображать: а нельзя ли мне как-нибудь раздобыть пищу? Обшарив карманы куртки, я нашёл моток лески с крючками и размякшую хлебную корку. Хотел тут же сунуть хлеб в рот, но что-то меня удержало. “Эта жалкая корка меня не насытит, — подумал я. — А вот не попытаться ли поймать на неё чайку?”

Все эти сутки чайки кружились над лодкой. Возможно, они ожидали, когда я умру, чтоб поживиться хотя бы моими глазами. Птицы даже присаживались на борт лодки, но взлетали, как только я двигал рукой. “Может, хлеб их подманит поближе?” — подумал я и положил корку хлеба посередине раскрытой ладони. Расчёт мой был в том, что соловецкие чайки привыкли брать хлеб из рук: я и сам кормил их так множество раз.

Двух первых чаек я упустил: ещё хорошо, что они не успели выхватить хлеб, и мне пока было с чем продолжать охоту. А в третий раз мне повезло. На корку позарились сразу две чайки — и кинулись драться друг с другом, одновременно снижаясь ко мне. Стремление опередить конкурентку лишило их осторожности и, когда в лодку свалился крикливый комок из двух дерущихся птиц, я сумел ухватить одну из них за крыло. Упругие, гладкие перья со скрипом скользили из пальцев, но я уже накрыл чайку всем телом.

Не буду подробно описывать, как я отрывал ей голову, как, отплёвываясь от перьев, высасывал тёплую кровь, как потом разделявал птицу ножом (он у меня, к счастью, был) и как жадно, даже не чувствуя вкуса, глотал её потроха. Вся лодка оказалась облеплена сгустками крови и перьями.

Мяса в растерзанной чайке оказалось немного, оно было жёстким и пахнущим рыбой, но даже и то, что я проглотил, хорошо поддержало меня. Главное, что опять оживало желание жить. И вместе с ним поднималась глухая тоска. “Ну, что толку в том, — думал я, — что, утолив ненадолго и голод, и жажду, я промучаюсь на день-другой дольше? Всё равно же я обречён — всё равно те крикливые чайки, что выются над лодкой, в конце концов, расклюют мне лицо...”

Возможно, что рыбная ловля, которой я думал заняться, отвлекла бы меня от подобных не очень-то радостных мыслей. Но ветер снова усилился, лодку стало швырять по волнам, и о рыбалке уже не могло быть и речи. Я снова лежал на дне лодки, дрожа от страха и холода, — одежда была насквозь мокрой, — и тупо смотрел, как качается серое небо, и как чайки мелькают на фоне лохматых, растрёпанных туч.

7

В таком вот оценении я пролежал ещё почти сутки. Порою я, кажется, засыпал, потому что на фоне серого неба видел каких-то людей, слышал их голоса, а потом просыпался и вновь видел одни только тучи да чаек. Поднять голову и осмотреться у меня не было ни сил, ни желания: что толку вглядываться в бесконечный простор, по которому до горизонта видны только пенные гребни то вырастающих, то опадающих волн?

Но вдруг мне показалось: я слышу ритмический шум, чем-то напоминающий мерный шум крови в ушах. Я прислушался: шум нарастал. “Неужели прибор?!” — озарило меня. Я рывком приподнялся над бортом, и в первый миг не поверил глазам. Впереди, там, куда ветер гнал лодку, был виден берег! Чёткая линия скал поднималась над морем, а у подножия их равномерно вскипала приборная пена.

Охваченный радостью, я не сразу сообразил, сколь опасен прибор. Пока лодка моталась по волнам, я, по крайней-то мере, был цел и невредим; но что будет, когда меня вместе с лодкой бросит на скалы? На счастье, ме-

ня подносило к суше в отлив, да и отмель делала волны прибоем пологими. Раза два я уже слышал, как днище лодки скребёт по камням, но промешкал — оконечившее тело почти перестало мне подчиняться, — и меня с лодкой снова оттаскивало от берега.

Наконец, я решился. Когда сквозь дно лодки уже в третий раз я почувствовал камни, то перевалился за борт, ощутил дно под ногами и что было сил побежал к берегу. Прибойная пена кипела вокруг; ноги путались в водорослях и скользили по гладким камням. Волна ещё дважды меня догоняла, толкала, — я падал, — и пенный вал тащил меня назад в море. Но ветер, похоже, стихал, в волнах не было прежней ярости, и мне, напрягая последние силы, удалось выбежать из прибоя.

Отбежав от воды подальше, я упал ничком на холодные камни. Сильный йодистый запах исходил от гниющих меж ними водорослей. Теперь, когда подо мною был берег, меня — вот ведь странно! — качало сильнее, чем в лодке. Меня то поднимало вверх, то швыряло в какую-то яму; казалось, что берег качается так оттого, что хочет сбросить меня обратно в шумящее море. Я хватался за скользкие камни и полз между ними, извиваясь всем телом, словно морское животное, решившее выйти на сушу.

Потом я обессилел, затих. Не знаю, долго ли я пролежал на камнях, потому что следующим воспоминанием стало то, как я жадно пью воду, опираясь руками о дно каменистого и ледяного ручья. Напившись и даже не поднимаясь на ноги, я отполз от ручья на четвереньках и оказался на том самом месте, где сижу в эту минуту, припоминая всё то, что со мною случилось.

8

То, что остров необитаем, я узнал скоро. Не то чтобы здесь совсем не было никаких следов человека — нет, шторма выбрасывали на берег то пластиковые бутылки, то доски с гвоздями, но живых людей здесь не было точно. Я несколько раз прошел остров вдоль и поперёк, а потом ещё обогнул его по береговой полосе и вышел, как Робинзон, на свои же следы. Никаких сомнений в безлюдности острова больше не оставалось.

Не могу сказать, чтобы это открытие как-то уж очень меня поразило. Видимо, та часть души, что способна испытывать страх, словно выгорела за те двое суток, что меня носило по морю, и теперь у меня просто не было сил ни на что реагировать бурно. Первые дни я был оглушённо-растерян и вял и бродил взад-вперёд, не вполне сознавая ни себя самого, ни то положение, в котором я оказался.

Пока я испытывал только голод, холод и, время от времени, жажду. К счастью, после штормов пришли ясные, тихие дни, и в полдень на острове было по-настоящему жарко. Я обсох, отогрелся и даже чуть-чуть загорел: это спасло меня от воспаления лёгких.

А от мук отчаяния меня спасал голод. Ведь, сколько ни убивайся от бессилия и тоски, но инстинкт сохранения жизни всё равно поведёт тебя к морю, туда, где проще всего раздобыть пропитание. Первые несколько суток, пока я ещё не вполне владел собой, и не мог разжечь даже костра и шитался почти исключительно крилем. Этих шустрых креветок, размером примерно со спичку, можно было ловить в мелких лужах на полосе литорали: надо было только не дать им зарыться в песок и побыстрее выбрасывать из воды. Чем сильнее голод, тем быстрее приходит сноровка, и скоро я хватал креветок с бездумною торопливостью курицы, склёвывающей рассыпанное зерно. Я глотал их одну за другой — креветки, как семечки, похрустывали на зубах, — и часа через два, когда мой желудок уже тяжелел, я становился почти благодушен.

Я думал: раз голодная смерть мне пока не грозит, да и замёрзнуть я, вроде, не должен, то не так всё и плохо. Уж если я не утонул в той жалкой лодчонке и пережил шторм, то было бы обидно погибнуть сейчас, имея и пищу, и пресную воду, имея, к тому же, и кое-что для выживания в куртке-штормовке. У меня есть нож и две зажигалки, и, самое главное, леска с крючками. Хорошо, что я сунул её в нагрудный карман — хотел половить

с мужиками треску, — да так и оставил в штормовке. “Нет-нет, — думал я, ободрённый и сытый, — ещё повоюем...”

Продолжая обход литорали, я с радостью убеждался: практически всё, что лежало и ползало здесь, в этих лужах солёной воды, среди скользких камней, — всё было съедобно. Конечно, меня выручало и то, что я был биологом и более или менее знал, чем здесь, на острове, можно питаться, — знал, что прибрежная полоса по количеству, да и по качеству пищи мало чем уступает продовольственным полкам в каком-нибудь супермаркете.

Вот, скажем, водоросли. Ну, про ламинарию, или морскую капусту, нечего и говорить: всякий знает, что она и питательна, и полезна. Причём её, как и креветок, можно есть в сыром виде: надо только как следует нашинковать её ножиком, а то челюсти устают жевать эту бурую, жилисто-плотную массу. Конечно, она была не так вкусна, как креветки, и я прямо-таки заставлял себя её есть, — главным образом, чтобы бороться с запорами. Ведь хитиновый панцирь проглоченных мною креветок практически не переваривался, и выходил из меня, как еловая шишка — так, что я оглашал морской берег стонами и орошал камни кровью. А вот когда я ввёл в рацион изрядную долю клетчатки — ламинарии, ягеля и молодых листьев ивы, — то мой стул почти нормализовался.

Съедобными, в принципе, были и другие водоросли: и нитчатая анфельция, и фукус, напоминающий жёлто-зелёные бусы. Только их, прежде чем съесть, надо было долго варить, а котелка у меня тогда не было. Так что я использовал фукус только как перевязочный материал: процент йода в нём был очень высок, и, если приложить к ссадине или порезу лепёшку из растолчённого фукуса, всё заживало, как на собаке. Можно сказать, что здесь, на побережье, у меня был не только свой продовольственный склад, но ещё и аптека.

Ламинарию я собирал и сушил, как это обыкновенно делают жители Беломорья. Не всегда же бывает возможно зайти даже на мелководье — иногда прибой бьёт с такой силой, что трудно стоять на ногах, — да и не хочется лишний раз мокнуть. Поэтому я развешивал пятнистые полупрозрачные ленты морской капусты на кустах ивы или раскладывал эти бурые полосы прямо на скалах. За пару недель жаркой погоды набрался приличный запас сухих водорослей; я использовал их и как подстилку, и как еду — они были для меня почти то же, что и сено для лошади.

А беломорские мидии? Отлив обнажал на камнях, на песчаных проплешинах целые гроздья двустворчатых этих моллюсков, размером от ногтя и почти до ладони. Набрать их не составляло труда; повозиться приходилось лишь для того, чтоб раскрыть ножом чёрные створки и выковырнуть из них нежное тело моллюска. Мидии и в сыром виде были вкусны; но я обыкновенно запекал их на углях — тем более что тогда раковины раскрывались сами. Не успевал я выложить последние мидии на кострище, как первые уже начинали распахивать створки. В них шкворчала морская вода, так что соли мне было вовсе не нужно, а над кострищем парил сладкий мидийный дымок. Значит, кушанье было готово. На вкус запечённая мидия была чем-то средним между рыбой и курицей; к тому же она отдавала дымком, да ещё чуть горчила от морской соли — была настоящим деликатесом.

А ведь каждая мидия была ещё и сервирована по-королевски: она лежала на створке раковины, как на перламутровом блюде, и я любовался, как солнце играет на радужных завитках перламутра. Нередко, разжёвывая очередного моллюска, я чувствовал на зубах что-то твёрдое и сплёвывал на ладонь небольшую жемчужину. Поначалу я их выбрасывал, но потом зачем-то стал собирать. Скоро набралась приличная кучка красивых и ровных жемчужин. Жаль, было некому их подарить: теперь приходилось лишь вспоминать о тех женщинах, кого мог бы порадовать этот подарок.

9

Но о женщинах как-нибудь после. Теперь хочу вспомнить и описать пережитый мной ужас — не тот, в штормовом море в лодке, — а иной, но не менее страшный. В сущности, он меня и заставил начать вести этот дневник.

Это было недавно, примерно за час до восхода, в то время, которое называют “часом быка”. Меня окружал тогда, помнится, зыбко-рассеянный полусвет — стояла пора белых ночей, солнце пряталось в облачной дымке за скалами, но за горизонт почти не заходило, — и в этом неверном и призрачном свете всё казалось обманчивым, тающим: и стихшее море, и скалы, и чайки на скалах, и матово-тусклые лужи воды, что лежали, как ртуть, меж камней литорали. Казалось, что скоро весь мир расплывётся, исчезнет, что сумерки “часа быка” вот-вот растворят его без остатка.

Да ладно мир — Бог бы с ним: в конце концов, не пугаюсь же я, что в момент засыпания для меня исчезает всё окружающее; но дело-то в том, что в тех утренних сумерках, вместе с тающим миром вот-вот — и я чувствовал это! — мог исчезнуть я сам... Впервые с такою знобящею ясностью я сознавал себя всего только малою частью того ненадёжного мира, который сейчас расплывается, тает в тумане. Для той беспощадной и мертвенной силы, которая в виде сырого тумана сейчас надвигалась на остров, — а внутри меня она воплощалась в мучительном чувстве тоски, одиночества, страха, — для этой безжалостной силы не было никакого различия между мною, испуганно вжавшимся в углубленье скалы, и вон той, скажем, мёртворою чайкой, гниющей на отмели, или этим вот камнем, покрытым холодной росой. Как я раньше мог думать, что я — это нечто особое, то, что нельзя равнять со всем прочим миром, то, что, быть может, останется жить, даже если весь мир вдруг исчезнет?

До чего же я был наивен... Теперь-то я понимаю, что “я” — это просто ничто; но именно в этом-то вот осознании истины — и неспособности своей с ней примириться — и таилась причина ужасной, невыносимой тоски. Да, я значу для мира не больше, чем камень или дохлая чайка; но, раз я это осознаю, значит, я всё-таки чем-то отличен от равнодушного мира, и я не согласен исчезнуть вместе с ним!

Говоря по-простому, я не хотел умирать, особенно в это туманное утро, когда неизбежность, обыденность собственной смерти впервые так ясно представилась мне. Видно, во мне ещё было достаточно жизни, раз я испытывал страх перед смертью; этот страх был настолько велик, что, пытаюсь избавиться от него, вполне можно было бы наложить на себя руки.

Моё сердце билось уже где-то в горле, и было трудно дышать. И, как утопающий шарит руками вокруг, хватаясь за всё, что ему попадётся, так и я лихорадочно, слепо обшаривал камни, срывая с них сырой грязный мох, но, когда подносил к глазам эти серые клочья, то не мог осознать: что же это такое? Это всё были призраки, тени, которые вот-вот исчезнут вместе с моими дрожащими, грязными пальцами. Ослабевшие руки как будто ослепли и уже не узнавали предметов, которых касались.

Вот рукам подвернулась одна из тетрадей, лежавших у моего изголовья. Машинально я положила её на колени, раскрыл — карандаш лежал между смутно белевших страниц — и тупо смотрел, как пальцы сжимают его, словно стараются вспомнить: что это такое? Конечно, в эти минуты мне было не до дневника — просто руки вдруг встретили нечто, когда-то знакомое им.

В усилиях преодолеть приступ паники прошло много времени. Тусклый диск солнца уже приподнялся над мысом и мутно желтел сквозь туман. Тоска меня не отпускала, и дышать было по-прежнему трудно. Вдруг мне пришлось в голову, что неплохо бы было оставить в тетради что-то вроде предсмертной записки. Но что было писать? Я долго сидел над пустою страницей, держа карандаш в дрожащей руке. Потом, совершенно бездумно и машинально, рука сама вывела несколько слов, и я с недоумением посмотрел на страницу тетради, где было написано: “Море, остров, тоска...”

Но по мере того, как я уяснял смысл написанных слов, я почувствовал, что густая тоска, от которой мне только что было трудно дышать, понемногу слабеет. Ещё не рассудком, но чем-то иным я уже понимал: власть слова над миром таинственна и невыразима: стоит только назвать тоску её собственным именем, как она словно отодвигается от меня. И вообще, то, что названо, начинает жить собственной жизнью, освобождая нас от гнетущего груза неназванных вещей и явлений.

Это было открытием — тем, что спасло меня от помешательства в сумерках “часа быка”. Торопясь, я писал на бумаге слова — неразборчиво, криво и косо, не успевая их толком прочесть. Мне было важно хоть что-то, хоть какой-нибудь след себя самого оставить на смутно белевшей бумаге. На страницу тетради ложилась какая-то мешанина отрывочных мыслей, разрозненных слов, междометий и знаков, не успевавших оформиться в образы, там был даже рисунок, изображающий контур скалы, над которой висел мутный солнечный диск. Жаль, что тех, самых первых листков дневника не осталось: я горяча их пустил на растопку, о чём после не раз пожалел.

Я писал торопливо, не то убегая от собственной мутной тоски, не то поспешая за чем-то, без чего мне нельзя было жить. Но помню, что в той беспорядочной, путаной спешке, в какой на бумагу ложились слова, я написал и о том, как красив этот остров в утренних сумерках: как линия берега отпечатана на рассветном небе, как отчётливы контуры чаек, сидящих на скалах, и как вон то облачко, что похоже на чайку в полёте, с каждой минутой становится всё розовее.

О том, что я скоро исчезну, я больше не думал. Зато думал о том, как бы лучше, точнее описать, например, эти грубые, мшисто-пятнистые валуны, между которыми белеют цветки камнеломки. Закрепить на бумаге, спасти хотя бы малую часть мира, что тонет в знобящем тумане, означало каким-то таинственным образом сохранить и спасти себя самого.

А потом совершилось ещё одно чудо. По мере того, как я что-то писал, окружающий мир становился всё твёрже, надёжней. Туман быстро редел; отчётливей проступали и скалы, и контуры дальних холмов, и чёрные головы нерп на качавшейся глади парившего, как бы горячего моря. И мне померещилось: дело не только в рассвете, в том, что солнце поднялось над берегом, и его прибывающий свет разогнал полумглу бледной северной ночи, но и в том, что я взялся описывать эти камни и мхи, этих чаек на скалах и тусклый блеск луж, что мерцали по литорали. Как будто вот именно эта страница, покрытая путаной вязью из слов, и придавала всему, что я видел вокруг, достоверность реальности...

10

Так вот и вышло, что из предсмертной записки, которую я собирался оставить в тетради, — правда, мне до сих пор непонятно: кто, кроме чаек и нерп, мог её здесь прочитать? — получился какой-то дневник Робинзона, и я стал более или менее регулярно описывать свою жизнь на острове.

А сейчас я подумал: всё, что пишут люди, по сути, есть их предсмертные записки. Умираем-то мы, в конце концов, все, и не имеет большого значения то, сколько времени отделяет твой текст от твоей кончины. Осознаёт это каждый пишущий или нет, но в глубине души он верит, что написанный текст переживёт его самого. Выходит, всё то, что мы пишем — это наши предсмертные письма, обращённые к тем, кто будет жить после нас.

И хоть я понимаю, насколько ничтожна возможность того, что кто-нибудь в будущем возьмёт в руки и прочтает вот эти каракули, — да и что мне до этого будущего, если в нём уж не будет меня? — но идея беседы с потомками всё же греет мне душу. Мысль “а вдруг?” побеждает все доводы разума; и она же даёт силы жить в те моменты, когда, если следовать логике, смерть неизбежна, а всякое сопротивление ей — абсолютно бессмысленно.

Ну, какой смысл был в том, чтобы, как это делали в прошлом, запечатывать письма в бутылки и бросать их в бурное море в надежде, что кто-нибудь, выловив эти бутылки, узнает о кораблекрушении? А если и выловит, — лет через двести! — то авторам этих посланий будет трудно помочь. Но вот, поди ж ты: люди бросали и будут бросать свои письма в бутылках — пусть даже не в море, а, как теперь, во всемирную Сеть, которая столь же безмерна и равнодушна, как и морская пучина.

Спустя несколько дней, когда записки в этой тетради сделались столь же привычными, как и ежедневные выходы на литораль в поисках пищи и топ-

лива, я осознал ещё одну важную вещь. Человек, сочиняя дневник, его именно сочиняет, то есть воссоздаёт то, что было, не в виде буквального повторения прошлого, а в виде некой фантазии, для которой реальность прошлого служит, в лучшем-то случае, лишь канвой или фоном; но само наполнение прошлого создаётся здесь и теперь, в те секунды, когда карандаш, спотыкаясь и не поспевая за мыслью, бежит по бумаге. Иными словами, мы, сочиняя дневник, создаём своё прошлое заново.

И дело не только в том, что наша память несовершенна, а литературные способности оставляют, как говорится, желать лучшего, и мы, в силу этого, не можем воссоздать прошлое адекватно ему самому. Дело в том, что мы не хотим этого делать: нам гораздо важнее сотворить некий миф о себе и о собственной жизни. Можно даже сказать, что не настоящее рождается в прошлом, как принято думать, а прошлое, когда мы вспоминаем о нём и описываем его, повторно рождается в настоящем. Прожив некую часть своей жизни и теперь собираясь её описать, мы творим её, в сущности, заново, мы вторгаемся в прошлое и передельываем его. И, возможно, для будущего эти страницы моего дневника будут много весомее и достовернее, нежели то, что действительно происходило в реальности.

II

Что же это? Дневник, мемуары или размышления отшельника, которого судьба бросила на необитаемый остров и который, чтоб не сойти здесь с ума, взялся записывать то, что придёт ему в голову? Или, может быть, это роман, сочиняемый здесь от безделья и скуки? Это и то, и другое, и третье — это проза необитаемого острова, изобретённая мной для того, чтоб не очень постыдно и туло прожить здесь, на острове, время до собственной смерти.

И, насколько я помню, читать ничего подобного мне ещё не доводилось. Знаменитый роман Даниеля Дефо? Нет, но это же совершенно иное: беллетристика есть беллетристика.

Как ни смешно, но примерно полгода назад, лёжа в постели с сильной простудой, я за три дня перечёл “Робинзона Крузо” и был изумлён тем, насколько же, при внимательном чтении, эта книга нескладна и неправдоподобна. А её многословие? А назидательный тон? А бесконечно растянутое вступление, занимающее чуть ли не треть романа, когда читателю, перед тем как поместить его вместе с Робинзоном на необитаемый остров, предлагается долго и нудно следить за жизнью героя с раннего детства, наблюдать за его упорными попытками разбогатеть — причём автор, ничуть не стесняясь, увлечённо описывает успехи Робинзона в почтенном деле работорговли? А, наконец, совершенно дурацкий финал с переходом через Пиренеи, когда Робинзон и его спутники отстреливаются от сотен одновременно атакующих их караван голодных волков? Я уж молчу про сам остров, такой благодатно-тепличный по климату, флоре и фауне, каких не бывает, наверное, даже в раю. Видно, автор боялся, что он покажется читателям недостаточно занимательным, и он, ничуть не беспокоясь о правдоподобии и здравом смысле, плетёт несурезицы и небылицы одну за другой.

Но удивительно-то другое: как мог столь многословный и рыхлый, неправдоподобный роман стать, тем не менее, знаменитой и любимой книгой всех времён и народов? Видимо, этот роман, каков он есть сам по себе — это одно, а наше о нём представление и воспоминание — дело уже совершенно другое. “У памяти хороший вкус”, — говорят французы; вот и наша память о прочитанном в детстве романе работает, как гениальный редактор: она убирает длинноты и несообразности, преобразует Робинзона из расиста и работорговца в милейшего парня, а затянутый, вялый роман Даниеля Дефо — в энергичную, лёгкую, полную очарования книгу.

Память делает то же самое и с нашей собственной жизнью. Она убирает длинноты, повторы и несообразности, она опускает всё то, о чём вспоминать неинтересно, но зато воскрешает всё самое важное и дорогое, да ещё и расцвечивает былое столь неожиданно-яркими, свежими красками, каких в реальности, может быть, вовсе и не было.

Так что я не просто сейчас вспоминаю, а как бы заново создаю свою жизнь. Я наделяю её той глубиной содержания, какую она никогда бы не получила, не окажись я на этом вот острове и не возмись писать эти заметки. В каком-то смысле, я бы и вовсе не жил, не будь этого острова, этих трагедий и не посещай меня здесь по утрам, перед самым восходом тоска и отчаянье “часа быка”.

12

Но пора и одёрнуть себя самого. Что это я ничего не пишу о буднях жизни на острове? Ведь реальность, которую надо описывать, чтоб она не исчезла, может вновь от меня отдалиться.

Итак, опишем будни: дела и заботы реальности. Не описать ли, к примеру, как я хожу за дровами, собирая по берегу моря плавник? За этим занятием мне приходится проводить ежедневно по три-четыре часа, беспокоясь о топливе едва ли не больше, чем о еде. С пропитанием, как я уже написал, особых проблем пока не возникало, а вот найти дрова было сложнее. Тундра, которой была покрыта большая часть острова, обеспечить топливом меня не могла, и оставалась лишь надежда на море.

Каждый шторм, — а за первый месяц я пережил их четыре! — выбрасывал на побережье много древесных обломков, коряг, брёвен и даже досок с гвоздями. Видимо, материк был не так уж и далеко; и, скорее всего, там было устье какой-нибудь крупной реки. И многое из того, что собирала река, течение, ветер и волны несли на мой остров.

Я был рад каждой доске. Мало того, что она, — а особенно ржавые гвозди, торчавшие в ней, — мне нужна была как материал для строительства хижины; но каждый предмет, на котором я видел следы человеческих рук, прибавлял мне надежды на избавление. “Ну, не может же быть, — думал я, — чтобы на острове, куда доплывают эти вот доски — да что доски: я подобрал несколько пластиковых бутылок и обтрёпанный волнами брус строительного пенопласта! — чтобы здесь рано или поздно не оказались бы люди?” Однако досок я нашёл уже дюжину, а вот корабля на горизонте не видел пока что ни одного.

На выступающих в море мысах плавника было мало; зато в мелководных заливах его набиралось так много, что после шторма казалось: на отмели вырос причудливый лес из корявых, ошкуренных морем деревьев. Корни и ветви были начищены волнами, ветром, песком и блестели, как гладкие кости. Эти коряжины, кроме различных оттенков серого цвета, являли собою ещё и забавное разнообразие форм. Никакая фантазия человека не могла бы скрутить их в такие узлы, какие придумывала природа. А какая фантазия — думал я — могла бы предтавить всё то, что случилось со мной? В чьём воспалённом мозгу мог бы зародиться этот невероятный сюжет, который, однако, моя судьба выстроила ненароком, будто играя?

Узоры ветвей и корней бывали настолько затейливы, что мне было жалко бросать их в костёр. Поэтому самые интересные корни я сохранял, решив пускать их на топливо только в случае крайней нужды. Скоро рядом с моей недостроенной хижинкой на плоских каменных пьедесталах образовался целый музей деревянной скульптуры. Кажется, даже чайки побаивались этих кикимор и леших, что охраняли моё одинокое логово, и не слишком меня донимали, когда я ложился вздремнуть в тени деревянных страшилищ.

Выходы за плавником превращались порой в настоящие путешествия. Так, бывало, забудешься и замечаешься, неторопливо бредя по урезу воды, что опомнишься в нескольких километрах от лагеря, на каком-нибудь незнакомом доселе мысу, с которого остров предстанет вдруг в неожиданном ракурсе. Конечно, таскать плавник издалека не хотелось, и я просто оттаскивал его подальше от моря и складывал на берегу кучи дров, чтоб они подсыхали на ветерке и могли бы, при случае, превратиться в сигнальные костры. Дважды, собирая плавник, я обошёл кругом весь остров, затратив на это один раз двенадцать, а другой раз — пятнадцать часов. Мог бы, конечно, совершить обход и побыстрее, но куда мне было спешить? К тому же береговая линия,

особенно с севера, была так изрезана заливами и мысами, что остров казался гораздо больше, чем был на самом деле.

Полоса, по которой я брёл, обходя дужи и прыгая с камня на камень, не принадлежала ни морю, ни берегу или, можно сказать, была сразу и тем, и другим. В отлив здесь была суша, по которой можно ходить, а в часы прилива море опять наступало на берег и покрывало его своей тяжело вздыхающей тушей, порою спокойно-дремотной, порою взъерошенно-пенной и злой. Казалось, ещё продолжается сотворение мира, границы земли и воды ещё четко не определились, и до сих пор с переменным успехом продолжается спор двух стихий.

Даже животные, обитавшие здесь, — крабы, черви, моллюски — не могли бы мне твёрдо сказать: сухопутные они существа или морские? Они жили, плодились, кормились на стыке миров, и вот именно здесь, на сырой полосе литорали жизнь кипела особенно бурно.

Как, впрочем, и смерть: множество тел и гниющих останков я находил, бродя берегом моря. То серебристо блеснёт меж камней тушка рыбы — и вот уж, глядишь, чайки вьются над ней и стараются перехватить друг у друга добычу; то прибой вяло треплет комок грязных перьев, который когда-то был пёстрой, крикливой чайкой-чебарой; то я даже не мог разобрать, чьи же это останки увязли вон там, в тёмно-сером песке, и только тяжёлый дух тления говорил о том, что я набрёл на очередную могилу. Жизнь и смерть перемешаны были здесь так же сложно и нераздельно, как перемешаны были земля и вода; и нельзя было точно сказать, кто здесь властвует, чья здесь победа, ибо одно порождало другое, одно от другого зависело и друг в друга непрерывно перетекало...

13

Как-то я нашёл даже тушу тюленя. Она чернела, как продолговатый отполированный камень, и прибой гладко переливался через неё, а потом, отступая, вода шумно пенилась перед мёртвою тушей. Прилив и прибой, перекатывая, пододвигали её всё ближе и ближе к берегу.

Я долго думал: нужна ли мне эта туша? Пока я был сыт, но кто знает, как могла измениться погода на острове? Поэтому я всё же решил вытащить нерпу на берег и разделать её, чтоб иметь запас мяса и жира. Тащить её за скользкие задние лапы было неудобно — руки то и дело соскальзывали, и я, сделав ножом надрезы под челюстью, чтобы было за что зацепиться руками, потащил нерпу вперёд головой.

Тюлень был тяжёлым и уже изрядно припахивал, но мне было не до капризов. Вытащив тушу на камни, я сначала не знал, как с ней быть. Снимать ли, например, шкуру, а если снимать, то как её обрабатывать, и может ли она мне пригодиться? Тогда я решил, что нерпичья шкура мне не нужна; но сейчас вижу, как я был неправ, оставив её догнивать на камнях вместе с внутренностями и скелетом. Я мог бы попробовать сделать кожаные бахилы, а то ведь мои ботинки-берцы уже начинали потихоньку разваливаться, или нашёл бы той шкуре ещё какое-нибудь применение. Теперь же мне остаётся надеяться только на то, что море подарит мне ещё одного тюленя: ну, что ему, бесконечно богатому, стоит сделать мне, дураку, ещё один щедрый подарок?

Из той, первой туши я вырезал только шесть кусков мяса килограмма по два-три, срезал восемь хороших ломтей подкожного жира. Это было серьёзной прибавкой к моему рациону. Суп из ягеля и ламинарии становится гораздо сытнее, если бросить в него кусок тюленьего, пусть и немного прогорклого жира.

Мясо и жир я хранил в яме, которую выдолбил в мерзлоте острой пикой, сделанной из плавника. Получился неглубокий ледник, в котором я позже хранил и рыбу. От чаек я закрывал свой припас большими камнями. Конечно, мясо продолжало понемногу гнить даже в яме, но всё же не так быстро, как на солнце. И потом, представление о негодности тухлого мяса есть не более чем предрассудок. Недаром же почти никто из хищных животных

и птиц не только не брезгует падалью, но часто предпочитает её свежему мясу. В конце концов, тление — это всего лишь тушение мяса и жира, но только естественным, неторопливым способом. А что касается вкуса несвежего мяса, то это уж дело привычки. Едят же французы, да и не только они, сыр с плесенью, почему же и мне бы не поесть здесь, на острове, мяса с душиком?

То, что море подарило мне тушу тюленя, говорило о том, как богат даже этот северный остров, и, если не впадать в панику и не лениться, жить вполне можно и здесь. По крайней мере, сейчас, пока лето; что будет зимой, я даже и не загадывал: полярная стужа и ночь представлялись мне пока чем-то нереальным.

Плавник, который я собирал день за днём, казался мне, пережившему катастрофу, остатками какого-то грандиозного кораблекрушения. Причём это были обломки не просто какого-нибудь одного корабля, а как будто останки всей нашей цивилизации. Плавник — эти гладкие, то почти белые, то лаково-чёрные кости моря — наводил, большей частью, на грустные мысли. Впрочем, что для меня в эти первые дни и недели на острове не было грустным? Ещё удивительно, что я достаточно быстро оправился от пережитого шока: уже мог спокойно смотреть на чёрную, с проседью пены, зыбь беспокойного моря, уже перестал терять в весе и спал почти без кошмаров. Но вот плавник... Когда я рассматривал эти обломки, трогал их пальцами и представлял, откуда и как оказались на острове эта коряга или вот эта доска... Плавник неизбежно усиливал чувство тоски. Кости моря, раскиданные в беспорядке по берегу, придавали всему побережью не просто кладбищенский вид, а вид разорённого, взрытого бурей кладбища.

Каких только мыслей, порой невнятных и диких, не приходило ко мне, когда я часами таскал отсыревший плавник, громоздил его кучи на возвышениях берега, а потом отдыхал, привалившись спиной к деревянной, скрипучей, пропахшей мазутом и водорослями пирамиде. Куча дров хорошо защищала от солнца, а ветер сдувал мошку, и сиделось мне так хорошо, что я даже, случалось, задрёмывал.

14

А что же мне снилось — и там, возле кучи сохнувших дров, и вот здесь, в недостроенной хижине, да и вообще в любом месте острова, где меня сморит сон? Сны на острове — важная тема для дневника; тем более, что если не записать самое интересное из того, что приснилось, оно забывается так же быстро, как на прибрежном песке тает пенный узор.

Иногда снов нет вовсе: я просто проваливаюсь в тёмную яму, вынырнув из которой часа через два, встречаю привычный пейзаж лесотундры: камни в рыжих пятнах лишайников, серебристые поля ягеля да жёлтые россыпи маков среди валунов. Но вот что интересно: в первый миг пробуждения всё, что ты видишь, мерцает особенным, влажно искрящимся, светом и кажется глубже, весомей того, чем оно станет уже через минуту, когда ты проморгаешься и увидишь всё будничным, окончательно пробудившимся, взглядом. Кажется, именно в миг пробуждения, в этот краткий зазор между явью и сном ты можешь узнать что-то самое важное о себе и о мире. Но окружающий мир, такой мягко-податливый в сонных глазах, стремительно остывает, твердеет, грубеет; надежда на откровение тайны стремительно гаснет, а вместо неё наплывает тоска пробуждения. Только что, миг назад, ты надеялся: всё, что ты видишь спросонья — камни, море и скалы, — что всё это только мираж, и он скоро рассеется. Но этот мираж уплотняется, твердеет: остров снова оказывается островом, скалы — скалами, море — морем; и ты по-прежнему остаешься человеком, который пытается выжить на этом безлюдном, пустом берегу.

Иногда сны были яркими, полными лиц, разговоров, деталей — и они были столь достоверно-подробны, что даже реальность, как кажется, не могла бы соперничать с ними. Так, случается, отражение в озере — все эти ёлочки, ивы, берёзки, что видятся в глади воды вместе с синью бездонного неба, — кажется много отчётливей и правдоподобней реальных ветвей и листьев.

Такие подробные, яркие сны расширяли пространство свободы, позволяли почувствовать, что моя жизнь на острове не ограничена рамками повседневного существования, которое сводится, в сущности, к добыванию пищи и топлива и к ожиданию того, что я, может быть, вдруг увижу корабль. Реальность была для меня, большей частью, трудна и постыла; и, если б я жил только ею — я бы, наверное, спятил. Не будь со мной снов и не будь моего дневника, я б не дожил и до этой минуты, когда я всё это пишу, размышляя о снах. Мой дневник, как и сны, позволяет мне быть как бы больше себя самого; или, точнее сказать, дневник позволяет мне мало-помалу, строка за строкой становиться самим собой.

По сути, дневник — та же смесь воспоминаний и грёз, из которой складываются сны. Что видения снов, что вот эти страницы сшиты, можно сказать, из похожих материй. И, когда я увлечённо о чём-то пишу, я точно так же выскальзываю из-под власти реальности, бегу от её беспощадного плена, как и тогда, когда я засыпаю, и вместо мира, где властвует время и три измеренья пространства, я выхожу на иную, в реальности мне недоступную степень свободы.

15

Когда миновала примерно неделя моего пребывания здесь, — а первые несколько дней я почти совершенно не спал, — и когда стало ясно, что голодная смерть мне пока не грозит, я стал засыпать так внезапно и глубоко, в любом подвернувшемся месте и в любой час суток, что это было похоже на заражение сонной болезнью. Видимо, именно так, через сон, разрешалось то напряжение психики, в котором я находился первые дни. Каково мне было ежеминутно осознавать, что я оказался на необитаемом острове, что моя жизнь висит на волоске и что я, вероятней всего, так и закончу свой жизненный путь среди этих обдутых штормами камней?

Поэтому каждое погружение в сон было мне словно облегчающим выдохом после трудных, мучительных вздохов. Засыпая, я будто совершал бегство с этого проклятого острова и возвращался туда, где был некогда счастлив, свободен, но только, увы, не ценил ни тогдашней свободы, ни счастья...

Чаще всего снилась мне юность, наша общага. Она была, словно сумрачный город: огромный и сложный, с множеством тайных углов, закоулков и лестниц, со своими законами и своими легендами, с той густой атмосферой студенческой жизни, которая здесь создавалась почти целый век. Обитателей было здесь столько, что ни пьяница-комендант, ни вахтёрши, ни, тем более, институтское наше начальство не представляли себе ни точное число жильцов, ни то, как вся эта орава умудряется здесь ночевать, есть и пить, заниматься зубрёжкой и какие незримые силы питают всю эту густую и сложную жизнь.

Пока я был студентом, я жил в комнате на семерых; сейчас даже трудно представить, как мы, например, умудрялись водить туда девушек. Правда, субботними вечерами, когда все коридоры и комнаты возбуждённо бурлили, гремела музыка и трудно было встретить трезвого студента или студентку, случалось и нам засыпать в женских комнатах, в скрипящих кроватях подруг, разогретых вином, и им оставаться у нас, в нашей вверх дном перевёрнутой комнате, где бутылки катались, гремя, под ногами, и где на стульях вперемешку валялись учебники, лифчики и трусы.

Потом, когда я стал сотрудником кафедры, мне выделили отдельную комнатёнку на втором этаже. Конечно, там было и поспокойнее, и попримачнее; но даже и в этой моей холостяцкой камерке сохранялся дух вольной студенческой жизни. А вахтёрши, наверное, так и продолжали меня считать студентом.

И вот именно из коридоров и комнат общаги ко мне приходили самые яркие сны. Как будто, чтоб скрасить островное моё одиночество, мне снилось кипенье студенческой жизни. То бестолковое, в криках и смехе, застолье, то гул коридоров, когда по утрам сотни сонных студентов спешат на лекции и семинары, то кухонный сумрак, в котором дрожат синеватые кольца горе-

лок, хлопочут кастрюли, и девушки в лёгких халатиках словно танцуют меж плит и кастрюль свой задумчивый танец...

Почему мир во снах — как и в воспоминаниях — предстаёт таким волшебно преображённым? Почему то, что в реальности было унылым, мусорным, скучным и пыльным, теперь, когда всё это в прошлом, обретает совсем иной смысл? И что ближе к истине: явь или сон, унылые будни реальности или бездонный мир наших воспоминаний?

Ну, что, например, могло быть хорошего в тех еженедельных уборках комнаты, что мы затевали по пятницам? Уборка — она уборка и есть, и все мы старались побыстрее выгрести из-под кровати накопившийся мусор, сдать пустые бутылки, — а их набиралось не меньше трёх дюжин, — да протереть подоконник, на пыли которого уже можно было записывать лекции. Но теперь мне порой снятся даже те наши уборки, снится тот хлам, что мы выгребали из пыльных углов, и всё это видится в преображённом, волшебно мерцающем свете.

Вот ты выкатываешь из-под кровати тяжёлую, водянисто-зелёного цвета бутылку — в ней был портвейн “Три семёрки”, чей сладковатый и приторный запах ещё не выветрился, — и сразу же припоминаешь тот вечер, когда этот портвейн был распит. Сумрак комнаты, жестяной лягз трамвая, прогрохотавшего за туманным окном, смеющийся голос подруги — “Олег, мне щекотно!” — поёживалась она, когда я расстёгивал на её спине платье, — скрип панцирной сетки кровати, провисшей до самого пола, и горячая женская кожа, которая там, где на неё капнул сладкий портвейн, прилипла к скользящей ладони... Это всё вспоминалось так ярко и так достоверно, как будто весь вечер, в его бесконечно подробных деталях, хранился вот в этой зелёной и пыльной бутылке, которая, Бог знает зачем, сохранялась в моей сонной памяти. Казалось, потри её бок, и из неё, словно джинн из сказочной лампы, появится перебродившее прошлое; причём вино прошлого будет гораздо хмельнее и крепче, чем пресный раствор настоящего.

16

Сны, как и воспоминания, были непредсказуемы и прихотливы. Так, вперемишку с общагой, мне часто снились блуждания по городу, где я учился и жил. Большею частью они совпадали с холодной осенней погодой, когда городской затрапез становился особенно жалок и сиротлив и поэтому как-то особенно близок и дорог.

Почему мне так нравились именно городские окраины? Я мог часами бродить переулками по-над Днепром, то выходя на кустистый и илистый берег, то опять поднимаясь к домишкам и сараям, к заборам и старым садам, где так остро и свежо пахло лиственной прелью. Наверное, детство, проведённое в небольшом городке, оставило во мне такой след любви к поселковым окраинам — любви, непонятной ни городскому, ни настоящему сельскому жителю.

Особенно дороги были мне эти блуждания в глухом ноябре, в те короткие, стылые, ветром продутые дни, когда облетают последние листья, и всё, что ты видишь — замшелые крыши, поленницы, бочки под водостоками и похилившиеся сараи — предстаёт обнажённым, покинутым и сиротливым. Но именно эта вот дряхлость рождала пронзительно-острую нежность к осеннему миру окраин. Весь этот ветхий и на глазах разрушавшийся мир порой представлялся полным таинственных сил. Волнуясь, ты прыгал над лужами, оскользался в грязи и хватался за перекладины мокрых заборов, ты так торопился, как будто боялся отстать от своих собственных мыслей и чувств. Да, мир затрапезных окраин начал ветшать уже в миг своего зарождения, он явился на свет уже как бы в лохмотьях, в той самой разрухе и дряхлости, в какой пребывал и сейчас. Здесь всегда пахло мокрой корой и плодово-прелью, здесь всегда на задворках стеной рос бурьян, всегда криво стояли заборы и за мутными стёклами тускло краснела герань, воробы всегда что-то клевали на старых, прогнувшихся крышах, дождь всегда стрекотал по корыту, висящему на отсыревшей стене, и всегда из печной закопчённой трубы опускался слоистый и сизый, известью пахнущий, дым. Всё это было все-

гда и, возможно, останется точно таким до скончания века, ибо ветхость, заброшенность, дряхлость бывает порой долговечней, прочнее любой новизны.

К вокзалу ты подходил со стороны тушиков и запасных путей, пакагаузов, рельсовых кранов и изогнутых трубок переговорных устройств. Флюгарки промасленных стрелок торчали печально и косо; огни семафоров мерцали вдали, встречая уже наступавшие ранние сумерки. Под стук поездов и под гулкие переговоры диспетчеров ты шагал к любимому кафе на перроне и даже во сне ощущал молодой, будоражащий голод. Называлось кафе, разумеется, “Встреча”. Стеклообразные стены его изнутри запотели, а снаружи по ним секли то дождь, то косая снежная крупка.

Внутри было тесно, тепло и так шумно, что гвалт голосов уже не мешал, а, напротив, почти успокаивал. Сейчас, оказавшись на острове, я с тоской вспоминаю витрину вокзальной “стекляшки”. Вот лежит горка варёных яиц — каждое с синим клеймом на боку, — и ты знаешь, что это клеймо будет синеть даже под скорлупой, на мокром и скользком яичном белке. Вот селёдка под луком, вот горка пёстрого винегрета, вот тарелка обжаренной мойвы — рыжие тушки лежат голова к голове, — а вот миска жареной печени, любимого лакомства тех студенческих лет. Даже сейчас я отчётливо представляю себе её вкус — в нём проступает сладкая горечь — и почти чувствую, как поскрипывает на зубах упругий и сочный ломоть...

Но ты так озяб, что тебе, прежде всего, нужна “соточка” водки, которую и наливает тебе в незабвенный гранёный стакан тётка-буфетчица необъятных размеров. Ты выпиваешь его прямо у стойки, занюхав куском чёрного хлеба. Потом, лавируя между столами, пронося свой поднос над багровыми плешами, кепками или седыми кудрями, ты ищешь место, куда бы присесть... Кого-то случайно заденешь — он смачно, незлобно ругнётся, но всё же нигде тебе не было так хорошо, так спокойно, как в этом кафе, чьи стеклообразные стены дрожали от стука проходящих вблизи поездов. И эти небритые лица соседей, и пьяные их разговоры, и запах селёдки, вина и табака, и полузасохший фикус в углу, и пронзительный скрип входной двери, и колоссальная грудь всегда хмурой буфетчицы, — словом, всё, из чего состоял мир вокзальной “стекляшки”, рождало в душе волну такой нежности ко всему окружающему, что...

(Далее часть рукописи отсутствует: видны лишь корешки вырванных страниц. Вероятно, это произошло при спешной попытке зажечь сигнальный костёр. — Примечание издателя).

17

В центре острова, во впадине, защищённой от ветров холмами, было пресное озеро. Вытянутое метров на триста в длину, по форме оно напоминало человеческий глаз; а лесок, росший вдоль дальнего берега и отражавшийся в прозрачной воде, был похож на его ресницы.

Цвет озера постоянно менялся: от пронзительно синего, когда в ясный день гладь воды отражала небо, до почти чёрного, когда по небу ползли тяжёлые грозовые тучи. Менялось и выражение этого огромного водяного глаза. То гладкое, словно стекло, то покрытое сеткою ряби, то изрытое крупной волною, то, наконец, бушевавшее в бурю, словно небольшой океан, озеро всегда было разным, и я никогда не мог угадать, каким оно будет при очередной нашей встрече. Но мне всегда хотелось сказать ему: “Здравствуй!” — что я и делал, когда, перевалив через холм, отделяющий озеро от побережья, видел в низине, шагах в пятистах, синевшую или темневшую, гладкую или рябую поверхность воды.

Ловить рыбу в озере было много удобней, чем в море. Во-первых, в море трудно было добраться до той глубины, где держалась приличная рыба; во-вторых, волнение моря почти никогда не стихало (не хватало ещё, чтоб меня снова смыло с камней!), и, потом, я хорошо знал, как солёная морская вода быстро портит крючки, а каждый крючок для меня был бесценен. И вообще, к пресноводной озёрной рыбалке у меня как-то больше лежала душа.

Вопрос о наживке решался достаточно просто: то, что ел сам, я предлагал и рыбе. Набрав в один карман мидий, а в другой — креветок, я был обеспечен насадкой на целый день ловли. Сложней было решить, как оборудовать снасть. Понятно, что проще всего было бы привязать к леске небольшой камень и сделать донку. Но тогда был велик риск зацепа, обрыва крючка, рисковать же крючками и леской мне было нельзя.

Я сделал иначе. Одну из коротких дощечек, найденных на берегу, я использовал как мотовило для лески, и от этой же доски я отщепил поплавок: деревяшку длиною в ладонь и шириною в два пальца. Привязав поплавок на полметра выше крючка, я мог теперь, раскрутив, забросить снасть метров на десять и при этом не рисковал зацепиться за дно. Получалась рыбалка в отвес, “вполводы”: вариант, может быть, и не идеальный, но для здешней испуганной рыбы вполне подходящий.

Главной добычей был окунь, всегда здесь голодный и жадный. Я к тому же попал на постнерестовый жор, когда окунь кидался буквально на голый крючок. Если же клёв почему-либо стихал, или стая окуня отходила от берега, стоило лишь подёргать за леску, чтобы наживка заиграла в воде, как вскоре следовала поклёвка. Поплавок быстро плыл в сторону или притопал, я дёргал за лесу и ощущал упруго-живое биенье попавшейся рыбы. Окунь почти никогда не срывался; наоборот, каждая рыба заглатывала наживку так глубоко, что, бывало, исколешь все пальцы, пока выдерешь крючок из хрящеватой разявленной пасти.

Крупной рыбы мне в озере не попадалось, чему я был даже рад: не хватало ещё, чтобы какая-нибудь щука в полпуда весом оборвала и унесла мою драгоценную снасть. Видимо, скудность кормовой базы в этом холодном северном озере не позволяла рыбе вырасти: самые крупные окуни были размером в ладонь.

Как-то раз, правда, щука всё же схватила добычу. Когда я не спеша подтаскивал очередного окуня к камню, на котором сидел, от основания камня метнулась длинная тень, вода за поплавком взбурлила, и леса, напрягшись, стала дугой резать тёмную воду. “Пусти, дура!” — закричал я в сердцах, и щука, будто послушавшись, бросила окунька. Он был весь изрезан её зубами; а я ещё долго не мог успокоиться, даже перебрался с камня обратно на берег, чтоб походить, подышать и унять дрожь в руках.

К счастью, щуки в озере было немного, и больше такие атаки не повторялись. Не знаю, водилась ли в озере ещё какая-нибудь рыба, кроме щуки и окуня; на мою снасть, во всяком случае, она не ловилась.

Зато здесь водилось несметное множество уток, гусей, куликов. Я оказался на острове как раз в гнездовую пору, и над озером, да и над всем побережьем всё буквально гудело от рёвота, крика и свиста кружащихся птиц, и воздух вибрировал, когда над головой проносилась утиная либо гусиная стая. Птица казалась не такой уж осторожной, разве что гуси-гуменники не подпускали меня даже на сотню шагов.

Обилие птиц подбадривало меня. Думал ли я, что изобрету способ ловить здешних уток, или, может, надеялся, что обилие дичи непременно должно привести сюда охотников, или просто мне было легче выживать в тех местах, где кипела и множилась жизнь, где круглые сутки над озером проносились несметные шумные стаи? “Плодитесь-плодитесь, — бормотал я, бывало, провояжая глазами очередную утиную стаю. — Может, при вас я и сам как-нибудь подкормлюсь?” Уж на что-на что, а на птичьи яйца я сильно рассчитывал: собирать их мне казалось легче, чем шлёпать по лужам во время отлива, гоняясь за шустрými и до обидного маленькими креветками.

Наловив достаточно рыбы — на кукане из ивовой ветви висела тяжёлая гроздь окуней, — я порою ложился вздремнуть на камнях, возле самой воды. Здесь, у озера, было много уютнее, чем на морском побережье, здесь я не слышал ритмичного шума прибойной волны, и у озера сны были как-то спокойнее, мягче. Я бы, может быть, и совсем перебрался жить к озеру — на другом берегу поднимался лесок, и там вполне можно было сделать шалаш, да, к тому же, скоро должны были появиться ягоды и грибы, — но тогда я не смог бы следить за морем. А это было важнейшей моей задачей, по-

сколько только оттуда я мог ожидать избавления: три кучи дров, которые я сложил на скалистых площадках над морем, были готовы в любую минуту превратиться в сигнальные костры.

18

Отдохнув возле озера, я нёс тяжёлый кукан окуней к своей хижине. Всегда было трудно, поднявшись на холм, отделяющий озеро от побережья, вновь увидеть морскую безбрежную гладь, окружавшую остров: в этот миг я готов был завывать от тоски, вновь со всей очевидностью осознав безысходность своего положения. Но когда я подходил ближе к хижине, отчаяние мало-помалу сменялось привычными хлопотливыми мыслями, которые, словно рой мух, начинали клубиться в моей голове. Как приготовить сегодняшний — очень даже приличный! — улов? Всю ли рыбу запечь, как обычно, в золе или, может быть, часть окуней засушить? А если вывешивать рыбу сушиться, то как отогнать от неё этих чёртовых чаек, которые так и норовят меня обокрасть? Подобные мысли настолько меня занимали, что я забывал про отчаяние и тоску, с головой погружаясь в кропотливые, нудные, но зато во всех смыслах спасительные бытовые заботы. В сущности, это помогает не только мне, но и всем людям вообще: пока мы хлопочем о сиюминутном, нам некогда думать о смерти.

Проще всего было запечь окуней на углях — благо, шкура и чешуя у них была так прочна, что можно было ничем рыбу не оборачивать и даже не потрошить. Запечённые таким образом окуни получались отменно вкусны. Если мне, одновременно с приготовлением рыбы, хотелось ещё и обогреться и было жаль разрушать жарко пылавший костёр, можно было запекать окуней на рожне: этот способ наверняка знали ещё первобытные люди. Нанизав пять-шесть рыб на ивовые прутья, я устанавливал их полукругом на небольшом расстоянии от огня, и надо было лишь вовремя их повернуть, чтобы рыба не подгорела.

Но и на углях, и на рожне я готовил рыбу для ежедневного употребления; сложнее было приготовить рыбу в запас. А запас был необходим: не всегда же будет продолжаться жор окуня, пока приносящий мне неплохие уловы?

Сначала я пробовал рыбу коптить. Выкопать в скальном грунте и в мерзлоте подходящую яму-копильню было невозможно, и я попробовал сложить дымоход из камней. Возился я долго, но результатом был недоволен. Слишком много дыма уходило в щели между камнями, подобрать подходящее расстояние между костром и коптящейся рыбой никак не удавалось — тушки то оставались сырыми, то обгорали, — и копильню, в конце концов, я забросил. А для того, чтоб коптить рыбу в холодном дыму, требовалось так много дров и так много времени, что и этот способ мне не подходил. Да и то, что копчёная рыба получалась уж очень вкусна, в моём положении было, скорей, недостатком: невозможно было остановиться, пока не съешь всех до единого золотистых, пахнущих горьким дымком окуней.

И я решил рыбу вялить, предварительно положив окуней на денёк в морскую солёную воду: благо, луж с этой самой водой на морском берегу было сколько угодно. И всё было бы хорошо — на ветру, который дувал на секомых и крутил-вертел низки рыбы, окуни сохли отлично. Но не дремали разбойницы-чайки. Не успел я обрадоваться тому, какой хороший способ заготовки рыбы я выбрал, как первая же из тяжёлых гирлянд окуней, развешанных неподалёку от хижины, была растерзана этими жадными тварями. На верёвке осталось висеть только несколько окунёвых голов. Когда я увидел это, то стал сам не свой от ярости и обиды. Рассвирепев, я швырял камни в кружащихся чаек, а они, как казалось, смеялись: “Давай-давай, Робинзон, вывешивай новую порцию рыбы!”

Вообще, приступы ярости в те дни нередко накатывали на меня. Это было, как я теперь понимаю, способом преодоления страха, выходом из того тупика, в котором я здесь оказался. Увидишь, к примеру, что чайки сожрали запас окуней, и подумаешь с ужасом: “Ну, всё — это конец! Здесь, на

этом чёртовом острове, всё против меня...” Но следом накатывала другая волна: безрассудная ярость. Я что-то орал морю, ветру и чайкам, швырял в небо камни, пинал ногами песок, и так до тех пор, пока ноги и руки не уставали, а вслед за ними не успокаивалась и душа. Я сидел, отдуваясь, на камне, отгирал с лица пот и чувствовал в эти минуты странное удовлетворение. Казалось, что вместе со вспышкой ярости во мне пробуждался иной человек. Я был уж не тот кафедральный учёный, живущий между компьютером и микроскопом, а кто-то иной, первобытный и дикий, дающий выход страстям, исходящий то страхом, то яростью, то приступами злобы, то жадной мести. Я словно уподоблялся тому первобытному миру, который меня окружал, и сам становился почти первобытным.

Я тогда не испытывал никаких угрызений совести или сомнений по поводу тех перемен, что происходили во мне. Напротив, я чувствовал, что вместе с психической, так сказать, деградацией во мне проявляется нечто спасительно-важное, освобождаются силы, которые долго дремали во мне, но теперь вдруг проснулись. Да, я иногда превращался в животное: трусливое, жадное, злое. Но все эти качества, бывшие некогда столь отвратительными для меня, здесь, на острове, становились пустым сочетанием звуков, ничем. Зверь, на которого я становился порою похож, не может быть добр или зол, благороден или отважен: он бывает живым — или мёртвым. И всё, что способно продлить его жизнь, — хорошо, а всё, что ведёт его к смерти, — плохо.

Жизнь моя, можно сказать, упростилась до первобытных инстинктов. И я уже мало чем отличался от тех чаек, что норовили обокрасть меня, от зайцев или песцов, пробегающих по косогору, и даже от усатых креветок, которые, прячась, то вонзались в подводный песок, то стрелой вылетали из грунта в прозрачную толщу воды...

Правда, теряя многие из человеческих качеств и живя порой больше инстинктами, нежели разумом, я не утратил той хитрости, что так свойственна людям. Например, я придумал, как можно отвадить от хижины чаек и тем сохранить свой улов. “Раз эти бестии, — думал я, — так жадно хватают всякую рыбу, их можно на рыбу же и поймать”. И я сладил прочную снасть, только не рыболовную, а птицеловную. Шнур был достаточно крепок, крючок, на который я насадил окунька, был самым большим из той полудожини, что я хранил, как зеницу ока, и скоро хрипло орущая чайка забилась на туго натянутом, уходящем вверх шнуре. “Попалась, зараза!” — кричал я злорадно, подтаскивая чайку поближе, и оглушил её палкой: мне совсем не хотелось, чтоб она исцарапала мне лицо и руки.

Я колотил её палкой долго, вымещая на ней всю свою обиду и злобу, пока птица не превратилась в кровавый комок изломанных перьев. Потом я эту чайку выпотрошил, и набил её внутренность мхом. Получилось уродливо-грязное чучело, смотреть на которое было противно. Я подвесил его там, где обычно сушил рыбу, и всех прочих чаек как бабка отговорила!

19

Конечно, как человек, привыкший к тепличным условиям цивилизации, к дикой жизни на острове я был совсем не готов. Если б не молодость и не здоровье, на которое было грех жаловаться, да не погожее лето, не солнце, светившее и согревавшее остров почти круглые сутки, я бы долго здесь не протянул. Но, с другой стороны, то, что я был биологом, повышало мои шансы выжить. Я всё-таки знал кое-что о растениях и о животных, о том, что и как можно есть, и о том, что, напротив, нельзя есть ни при каких обстоятельствах.

Дело даже не только в питании, но и во многом другом. Когда, скажем, я в кровь сбил себе ноги, блуждая по острову, а потом эти потёртости стали гноиться, жизненной необходимостью стало лечение стоп. “Не хватало ещё, — думал я, — загнуться здесь от гангрены...”

Но чем лечить раны, и чем было их перевязывать? Подумав, я выбрал фукус: в этой водоросли был высок процент йода, а значит, она должна об-

ладать хорошим бактерицидным эффектом. Кто когда-либо видел фукус, тот знает, насколько он жёсток; просто прикладывать водоросль к воспалённым местам невозможно. Положив пучок фукуса на плоский камень, я долго стучал по нему другим камнем, пока не размочалил водоросли до состояния мокрой ваты. Резкий йодистый запах бил в ноздри. “Вот и хорошо, — думал я. — Должно, значит, действовать”.

Как перевязочный материал я использовал мох. Зная, что мхов здесь великое множество — чуть ли не двести различных их видов растут в Приполярье, — я выбрал сфагнум: его нежный ворс был на ощупь приятней всего. Приложив к воспалённым местам размочаленный фукус, прикрыв раны мхом, я осторожно натянул расшнурованные ботинки — хорошо, что они были мне велики, — и стал ждать результата. Не скажу, что облегчение пришло сразу: распухшие стопы как болели, так и продолжали болеть, но спустя сутки, меняя повязки, я увидел, что краснота и отёк заметно уменьшились. Дней через пять раны подсохли и стали затягиваться, а ещё через неделю мои стопы были, как новые.

Фукус помог мне и ещё в одном важном деле. Когда установились настоящему жаркие дни, рыба, которую я ловил в озере, быстро портилась даже в тени. Я подумал: “А что, если набить её фукусом?” Он и солёный, и йода в нём много: должен действовать, как консервант. И в самом деле: тушки окуней, потрошённые и затем набитые фукусом, сохранялись и два, и три дня; и хранились бы, может быть, и дольше, но я съедал рыбу, не дожидаясь завершения эксперимента.

А однажды меня прохватил сильный понос. Может, организм не сразу смог приспособиться к морепродуктам, составлявшим основу моего рациона, или я наглотался каких-нибудь местных бактерий, но, как бы то ни было, пришлось лечить и кишечник. В этом деле хорошо помог уголь. На остывшем кострище я набрал угольной пыли, размешал в воде, несколько раз выпил эту чёрную жижу — и бунтовавший кишечник мало-помалу затих.

Так что мне приходилось заниматься и медициной, выступая одновременно и в роли доктора, и в роли пациента. Вообще, дух исследователя оказался во мне живуч. Даже здесь, где, казалось бы, было не до изысканий в области микробиологии, я между делом устраивал кое-какие эксперименты. Так, найдя камни, покрытые ровным белёсым налётом плесени — родовая её принадлежность была мне неизвестна, — я решил испытать различные водоросли на их фунгицидный эффект. Выкладывая небольшие лепешки из фукуса, ламинарии и анфельдии на заплесневелые камни, я ждал: какого размера кольцо угнетения роста образуется возле каждой лепёшки? В этой работе был не только теоретический, но и практический интерес: я хотел точно знать, какую из водорослей лучше использовать в качестве антисептика? Как и ожидалось, победил фукус: плесень переставала расти именно вокруг его бурой кляксы. Но интересно, что сильнее всего на плесневые грибки действовали даже не водоросли, а помёт чаек: там, куда падали эти белёсые едкие капли, плесень сгорала до серого камня. Жаль, что птичье дерьмо было сложно использовать в качестве медикамента: слишком непредсказуемым мог быть результат.

То, чем я развлекался в часы досуга, в сущности, напоминало работу на кафедре микробиологии. И вообще, моя кафедра вспоминалась мне часто. Причём вспоминались те мелочи, на которые раньше я и не обратил бы внимания: например, то, как вкусно пахнет агар в чашках Петри, или то, как проволочная петля, раскалённая на спиртовке, светится тонким красным кольцом...

20

Я любил свою кафедру и всё то, что там делал. Биология с детства была моей любимой наукой, и интерес к ней я не утратил даже тогда, когда стал заниматься ею профессионально. Да и коллектив у нас был на редкость хороший; до тех пор, пока не пришел новый заведующий, я ощущал себя в нём, как в семье.

Утро на кафедре начиналось в половине восьмого утра. Когда я шагал по гулкому кафедральному коридору, на меня со стен смотрели портреты великих учёных, стоявших у истоков микробиологии. Антон Левенгук и Пастер, Дженнер и Мечников, можно сказать, что мой рабочий день начинался общением с ними. Я даже чувствовал некую гордость: ведь я делал, по сути, одно с ними дело. Иногда мне мерещилась как бы усмешка, что затаилась во взглядах *великих*. Они словно мне говорили: “Ну, что, приятель, как поживают твои бактериальные плёнки? Нобеля-то ещё не получил? А вот как получишь — так и тебя тут повесят, в одном ряду с нами...”

Я любил приходить раньше всех и пить утренний чай не у себя в общезитии, а в ассистентской. Сидя с дымящейся чашкой и просматривая какую-нибудь распечатку из интернета, я слышал шаги, раздававшиеся по коридору, и почти всегда мог угадать, кто пришёл на работу. Вот прошаркала Марья Петровна, уборщица; вот зацокали каблучки лаборантки Любаши; вот закаплялся и затопал ногами, сбивая с них снег, Василий Львович, наш добрейший профессор. А вот стал накатывать и студенческий гул: разноглаголица смеха, шагов, голосов означала, что скоро начнутся занятия.

Кроме семинаров в студенческих группах, я вёл и свою собственную научную работу. Как я уже писал, моей темой были бактериальные плёнки и их способность сопротивляться антибиотикам. Лет шесть назад, когда я только начинал, о бактериальных плёнках ещё не писали так много, как ныне: можно сказать, я стоял у истоков одного из важнейших направлений современной микробиологии.

Оказывается, бактерии, как и люди, не выживают поодиночке: они образуют сообщества — “плёнки”. Мало того, что для каждой отдельной бактерии тогда повышаются шансы на жизнь, но такое сообщество, состоящее из миллиардов существ, можно считать уже многоклеточным организмом. Не буду сейчас углубляться в подробности сделанных мной наблюдений и выводов; но живой интерес к этой теме не остыл во мне даже теперь. Несмотря на рутинность, однообразие ежедневных моих наблюдений и на весьма скромные результаты, что получались в итоге, я не знал ничего увлекательней, чем рассматривать мир сквозь трубу микроскопа.

Ресницы, моргая, шуршали по окуляру, но ты уже не замечал ни их шороха, ни вообще чего-либо в окружающем мире; тебя завораживало созерцание круглого поля, которое матово-нежно светилось перед тобой. Чувство, что ты сейчас видишь нечто сокровенное — то, что обычному взгляду увидеть нельзя, — не угасло в тебе даже спустя десять лет кропотливых научных занятий. Этот светящийся круг тебя словно гипнотизировал: там, в микромире, даже время текло по-иному. В этом загадочном мире, жизнь которого ты наблюдал, время измерялось не человеческими часами, а циклами бактериальных делений. Я мог целый час просидеть, не отрываясь от окуляра, думая, что прошло всего десять минут. И было так удивительно осознавать, что все эти кокки, бациллы, спириллы живут рядом с нами и в нас, что все они дышат, растут, размножаются и умирают буквально на наших ладонях...

Для меня микроскоп всегда был важнее и интереснее телескопа, и микромир был таинственней и притягательней макромира — того, что вмещал в себя разные там галактики или туманности. И понятие бесконечности всегда было для меня внутренним, а не внешним: двигаться внутрь и вглубь мне казалось и кажется много важнее, чем постигать бесконечность снаружи. Ведь главные тайны жизни и смерти сокрыты внутри; и поэтому именно созерцание микромира всегда наполняло меня ощущением причастности некоей таинственной, неиссякающей жизненной силе.

21

Самое время вспомнить кафедральную лаборантку Любашу — одну из самых загадочных женщин, которых я знал.

На первый взгляд, не могло быть существа примитивнее, чем эта бело-брысая женщина, моющая пробирки, чей халат был всегда мокрым и липнущим к телу. Даже просто-напросто описать её, то есть наделить опреде-

лёнными качествами и чертами, представляется сложным: Любаша была вот именно, что никакая.

Ну, разве что пол не вызывал сомнения: всем было ясно, что женский. А вот остальное... Какого, например, цвета были Любашины волосы? То светло-серые, то соломенно-жёлтые, то чуть отдающие рыжиной. В общем, как выражаются дети: серо-буро-малиновые. Вот такого примерно оттенка, то есть всякого и никакого, и были волосы у Любаши. Про причёску я вообще молчу: Любаша и причёска были вещи несовместимые. Она так, видно, и родилась: с этими сыроватыми, сивыми прядями, в беспорядке лежащими по спине и плечам. Да, у неё всегда были влажные волосы: словно какая-нибудь nereida, она их вот только-только отжала, затем набросила прямо на голое тело халат (кроме трусов и бюстгалтера, под халатом у неё никогда ничего не бывало) и вылилась в нашу лабораторию.

А глаза? Точно можно было сказать лишь одно: они у неё водянистые. Цвет же их постоянно менялся, отражая цвета окружавшего мира и состояние Любашиной — очень, надо сказать, переменчивой, даже строптивой — души. Да, она могла быть туповато-спокойной и вялой (такой она чаще всего и бывала), и тогда её взгляд был светло-серым, пустым. Когда она неизвестно чему улыбаясь, с рассеянным взглядом перебирала пробирки, которые влажно-мерцающей грудой лежали перед ней и тихонько звенели в сиянии радужной мыльной воды, то в её отрешённых глазах тоже виделись отблески радуги. Но порой (а я несколько раз наблюдал и такое!) Любашу могло что-нибудь рассердить. Чаще всего это было связано с начислением зарплаты, с записью сверхурочных часов — с какими-то махинациями бухгалтерии. Любаша тогда превращалась в настоящую фурию: голос её звенел, лицо багровело, грудь вздымалась — и вот тогда в её потемневших глазах была почти грозная чернота.

— Что-о? Из-за этих вот сраных трёх тысяч я буду мыть ещё и полы?! — орала Любаша. — Да засунь эту ведомость в задницу — я всё равно её не подпишу!

— Любаша, Любаша, — пыталась её урезонить бухгалтер. — Да мы всё уладим, ты не волнуйся...

Но Любашу, когда она так расходилась, унять было трудно. Казалось невероятным, что это сонное и почти бессловесное существо, которое тихо позвякивало чашками Петри, предметными стёклами и пробирками где-то на периферии всей кафедральной жизни, способно метать громы и молнии.

Но буря стихала, и лаборантка Любаша опять превращалась в ту мало-заметную женщину в мокром халате, к которой мы все так привыкли, что само существование кафедры без Любаши казалось почти невозможным.

Думаю, что Любаше не было и тридцати; но с определением возраста, как и со всем остальным, возникали проблемы. Она то казалась матёрою тёткой, то вдруг лицо её было таким удивлённым и розово-юным, что хотелось погладить её по голове и, словно маленькой девочке, дать ей конфетку.

Да что я пишу тут о возрасте, цвете волос или глаз, когда даже с именем — и то возникала пуганица! Понятно, когда рассеянный старый профессор или преподаватель, доведённый почти до психоза студентами, путает имя недавно пришедшей на кафедру лаборантки. Ну, назовёт он Любашу Танюшей, ну, поправит она его тихим голосом несколько раз — и все привыкают звать её правильно. Но вот нашей Любаше было, кажется, всё равно, как к ней обращаются. Она отзывалась на всякое имя: Наташа, Валюша, Катюша — и никогда не поправляла того, кто ошибся, и поэтому долгое время, чуть не полгода, её называли по-всякому, кто как хотел, и это не вызывало почти никаких неудобств. Крикнешь имя — любое, почти наугад! — и из бытовки выходит женщина в мокром халате, отводит с лица прядь волос и, прислонясь к косяку, с туманной улыбкой спрашивает:

— Звали, Олег Николаич? Что нужно?

Говорить с ней было трудно, зато было легко и удобно молчать. Спросишь, бывало, её:

— О чём думаешь?

А она, пожимая плечами и чуть улыбаясь — нашёл, дескать, о чём спрашивать! — отвечает:

— Да так — ни о чём...

Казалось, ей можно сказать: стань такой или нет — вот такой, ну, в общем, такой, какой я сейчас попрошу, и она с той же лёгкостью, с какой отзывалась на всякое имя, примет любой заказанный облик. Иногда я пытался представить, какая она без одежды (игра, в которую каждый мужчина так любит играть). Но с Любашею эта игра была совершенно бессмысленна, потому что мокрый халат не скрывал, а, скорее, подчёркивал то, что было под ним: глубокий пупок и большие соски, даже круглый лобок. Но, с другой стороны, откровенное тело Любаши было каким-то расплывчато-зыбким: она всегда словно бы уплывала куда-то, со всей своей мягкостью форм, со всеми округлостями и впадинами податливо-гибкого тела...

Но приятно ли, спросим мы дальше, было смотреть на Любашу? И вот тут я впервые могу дать совершенно определённый ответ: да, приятно. Причём это было приятно всегда: и тогда, когда она тихо возилась за лабораторным столом и мурлыкала тихую песенку (ни мотива, ни слов было не разобрать), и тогда, когда она перед началом зачёта собирала тетради и методички у робко притихнувшей группы студентов, пlying меж столов с отрешённой улыбкой, и тогда, когда она, скажем, пила чай в лаборантской, держа блюдечко на растопыренных розовых пальцах.

Но я не написал ещё самого главного. Любаша была — как бы это сказать? — даже не то, чтобы просто доступна, как бывает доступна женщина лёгкого поведения; но Любаша, похоже, не придавала интиму вообще никакого особенного значения. Где, когда, с кем и как — ей было, кажется, всё равно. И с Любашей на кафедре близко общались чуть ли не все: от старика-профессора до небритого забулдыги-студента, пришедшего вечером на отработку занятий и притиснувшего Любашу где-нибудь в тёмном углу, за тихо гудевшими термостатами. Доходило и до комических ситуаций. Постучишься, бывало, к Василию Львовичу, а он крикнет сдавленным голосом: “Олег, это ты? Подожди!” — и я задержусь возле двери, за которой надсадно пыхтит добрый наш старикан, а голос Любаши, смеющейся, как от щекотки, уговаривает его:

— Профессор, да не горячитесь вы так! Вам же вредно...

Через какое-то время Любаша открывала мне дверь — отрешённо-тупую улыбку, казалось, ничем не согнать с её сдобно-розового лица — и нараспев говорила:

— А, это вы, Олег Николаич... А мы тут с Василием Львовичем думаем: кто это ломится к нам на ночь глядя?

А в кресле сидел, задыхаясь, профессор: с мерцанием пота на лысине, с растрепавшимся пухом волос и с виноватой улыбкой на старом, морщинистом — но совершенно счастливым! — лице...

Этот же добрый старик, когда нам случилось посидеть в пивном баре на улице Николаева, захмелев, начинал бормотать:

— Ты, Олег, даже не представляешь, что это за женщина! Это — Гольфстрим... Ты меня понимаешь? Гольфстрим!

И он так гримасничал, так растопыривал пальцы, словно хотел сейчас это всё показать: и Любашу, и этот самый Гольфстрим, и себя самого, которого вдруг, уж на старости лет, подхватило могучее это течение.

Я его хорошо понимал. Я и сам, когда задерживался на кафедре с Любашей, и рабочий стол мой ритмично похрустывал под её сдобным телом, — я тогда чувствовал, словно плыву по широкой и тёмной реке. Я торопливо дышал, напрягался и грёб, даже, кажется, слышал ритмичные плески внизу, но река оставалась рекой, бесконечной и тёмной, и, сколько бы я ни старался, мне нечего было и думать о том, чтоб её переплыть...

Бывало, я ей так прямо и говорил:

— Ты, Любаш, как река...

— Ага, — говорила она равнодушно, оправляя халат и зевая. — Смотри, не утопни...

Конечно, Любаша надолго могла занять мои мысли; но реальность всё равно возвращала меня к себе. Уже в первые дни, когда я понял, что голодная смерть мне пока не угрожает, я стал подыскивать место, где можно строить укрытие.

Главное, чтобы оттуда, где я поселись, было видно море. Понятно, что видеть всё побережье сразу нельзя; но я решил, что всего вероятнее появление судна именно с юго-востока, с той стороны, откуда ветер и волны пригнали меня. Поэтому поиски ограничились той скалистой площадкой, что возвышалась над отмелью, где так недавно — или давно? — я боролся с прибоем.

Сюда же, на отмель, через несколько дней волны вынесли шкуру растерзанной лодки. Её так изорвало о камни, что ни о каком ремонте нельзя было и думать. Оно, впрочем, и к лучшему: если б я ухитрился как-нибудь залатать лодку, то, возможно, очередной приступ паники мог бы погнать меня снова в открытое море, где, конечно, меня ждала верная смерть.

Я вытащил лодку на берег: резина могла пригодиться. Надувные баллоны бортов мне удалось так удачно отрезать, что получилось четыре отличных ведра, где я позже закавашивал листья берёзы и ягель, солил грибы и даже настаивал брагу из ягод морошки и клюквы. Из отрезков резины я мог бы, в принципе, сделать и обувь — что-нибудь наподобие чуней, но пока целы были ботинки, и возиться с этим мне не хотелось.

Дно лодки, хоть и было в трёх местах порвано, могло послужить хоть каким-то навесом: не столько даже от ливня, сколько от солнца. Ведь, как ни смешно, но здесь, на берегу Ледовитого океана, был риск получить солнечные ожоги: тени на острове почти не было, а солнце сияло на небе чуть ли не круглые сутки.

Леер лодки и длинный чальный конец я растянул на колах, вбитых в трещины скал, чтобы сушить на них рыбу и ламинарию.

В поисках места для хижины я обшаривал берег, пока не нашёл как раз то, что нужно. Одна из расселин меж скал уходила вглубь метра на три с половиной, а в ширину была чуть больше метра. Вход в неё очень удачно оказался открыт как раз в сторону моря. Мне оставалось лишь положить сверху на скальные стенки какое-нибудь перекрытие и заделать щели камнями, да выложить перегородку на входе, чтобы надёжнее защититься от ветра.

И я начал таскать камни, плавник, ломать ветки берёзы и ивы, чтобы постелить их на пол и на крышу, но поначалу, в тревоге и спешке, работалось плохо. Раз, неся камень, я упал, подвернув левую ногу, и сильно ушиб левый бок. Боль меня отрезвила: я понял, что спешка и суета — плохие помощники. “Стоп! — сказал я себе. — Если сломаю ногу или руку — мне верная смерть. Поэтому двигаться надо медленно и смотреть, куда ступаешь”. Тогда же я вспомнил три правила, которые вычитал где-то и которые должен, как “Отче наш”, знать любой человек, попавший, вроде меня, в аварийную ситуацию. Правила эти очень просты: “Не спеши, не рискуй и думай, что делаешь”. Усвоить эту формулу выживания даже важнее, чем раздобыть себе пищу или сделать укрытие. Ибо без пищи, без крыши или без огня жить можно долго; а вот нарушая простые правила выживания, можно погибнуть глупо, бездарно и быстро.

“Не спеши, не спеши...” — бормотал я, поднимаясь от берега моря с тяжёлой доской на плече, чувствуя, как напрягаются все мои мышцы и как что-то хрустывает в спине. “Не рискуй!” — говорил я себе и выбирал путь, хоть и более длинный, но зато пологий и безопасный. “Подумай: ну, кто же так кладёт камни?” — спохватывался я, видя, как шатко лежит основание каменной стенки, и принимался, уже в третий раз, её перекладывать.

Из двух скальных стен моей норы-хижины одна была выше другой. Мне это было на руку: получалась косая, в один скат, крыша. Основой её, то есть как бы стропилами, на которые я настилал потом ветки, были четыре доски — их мне удалось отыскать на морском берегу. Часть днища резиновой лодки я разместил там, где устроил место для сна, надеясь, что эта резина надёжнее защитит меня от дождя. Впрочем, и в остальных местах кры-

ша неплохо держала: ливень должен быть просто обломным, чтобы лиственный скат весь набряк влагой, и в моё логово протекла бы вода. А так, если даже шёл дождь, то вода стекала по каменным стенкам и, поскольку пол был тоже наклонным, то она без следа исчезала в трещинах между камней.

В общем, с логовом мне повезло. На всём острове не было столь же удобного места, хорошо защищённого от ураганных ветров да к тому же расположенного невдалеке от впадавшего в море ручья.

Довольно долго — дней пять — я выкладывал стенку на входе. Без неё мне не на что было положить самое длинное из стропил — на входе ширина расщелины была наибольшей, — да и уютнее было жить в закрытой, не продуваемой насквозь полупещере. Потом я завалил валунами и заднюю часть логова: жутковатую щель, уходившую в толщу скалы. В жилище моём сразу сделалось сумрачней, когда торцевая стена поднялась в человеческий рост, и на неё легла кровля; впрочем, входной проём всё равно пропускал достаточно света. Я даже свободно писал в этом сумраке, удобно устроившись у очага.

С постелью всё было достаточно просто. Такими же ветками, что я навалил на стропила, я застелил каменный пол, выбрав место, где он был ровнее. Мох же, которого я натаскал пять или шесть охапок, я использовал для того, чтоб конопатить им щели между камней. В итоге мне удалось победить сквозняки, и воздух теперь не тянул сквозь пещеру, как это было вначале, а успокоился между каменных стен, и только тогда, когда загорался огонь в очаге, нагревавшийся воздух дрожал и тихонько шуршал-шелестел подсыхавшею кровлей...

Огонь мне, конечно, был необходим. Но я понимал, что большой костёр разводить в хижине небезопасно: от высокого пламени или от искр могла вспыхнуть кровля. Поэтому мне был нужен небольшой, аккуратный очаг. Сложить его было несложно. Дрова в моём очаге горели ровно и жарко, сгорая до серой золы. Примерно раз в неделю я чистил очаг, выгребая золу.

Эту золу я поначалу просто выбрасывал, но заметив, какой чёткий след зола оставляет на бледно-зелёных лишайниках тундры, я нашёл ей лучшее применение: стал писать сигнал "SOS". На ровной площадке, метрах в двухстах от жилища, я выдрал-вытоптал тонкий покров зеленеющей тундры и затем посыпал землю золой в виде трёх этих букв, метров по десять каждая. Несомненно, что с воздуха их было можно заметить.

Сначала очаг служил мне лишь для того, чтоб запекать рыбу и мидий. Потом, когда раздобыл две кастрюли, я стал варить себе суп из грибов, ламинарии, ягеля, полупротухшего мяса тюленя — вообще из всего, что попадало мне в руки. Но нередко я разводил огонь просто для того, чтобы не было так одиноко в холодном, сгущавшемся сумраке полупещеры. Стоило подложить в очаг дров да раздуть рубиново-красные угли под слоем золы, стоило пламени взлететь за твёрдый, отполированный морем плавник, как и в хижине, и на душе становилось теплее. Дым свистел, пробиваясь сквозь камни; морская соль на дровах, смешанная с песком, вспыхивала синеватыми искрами; алое пламя плескалось о закопченные камни, и очаг чуть похрустывал. Всё это вместе — свист дыма и вздохи пламени, и потрескивание проседавших камней — неизменно меня утешало. Я мог бы, кажется, слушать горящий очаг бесконечно и вечно следить за живою игрою огня.

Две своих зажигалки я берёг, как зеницу ока, использовал лишь в крайнем случае и старался раздуть ещё тлевшие угли. Главное, чтобы была под рукою растопка. Я всегда держал в хижине запас сухих ивовых прутьев и бересты. Стоило приложить к угольку завиток бересты, как он тут же скручивался и смуглел, и на бересте повисал лоскуток молодого огня. Он был ярко-алый, чадающий дегтярным дымком, и проворно взбирался по тонким, податливо никнувшим прутьям ивовой растопки.

И вот уже скоро огонь бормотал и потрескивал между камней очага, и эта его хлопотливо-невнятная речь напоминала живую и торопливую речь человека. Вообще, мне порою казалось, что нас в хижине двое: я — и огонь в очаге...

Только сел в затишке и начал писать — страницы тетради как будто задёргнулись дымом, и назойливый звон стал сгущаться в ушах. Воздух враз загустел; если резко двинуться или наклониться, казалось: в лицо тебе бросили горсть песка.

Первое время мошка меня так донимала, что я всерьёз думал: меня доконают не голод и холод, а полчища гнуса. Оказавшись на острове в самый пик их активности, в начале полярного лета, я ходил с окровавленными руками и с настолько распухшим лицом, что не мог узнать своего отражения в луже воды: на меня смотрела распухшая узкоглазая рожа с потёками крови на лбу и щеках. Можно было подумать, что меня били мордой о камни.

На фоне мельчайшей и злой, проникающей всюду мошки комары казались почти безобидными существами: они, в основном, лишь звенели да вились вокруг.

Избавление от летающей нечисти приносил только ветер. Вот и теперь, написав всего несколько строк и не в силах уже находиться внутри облака гнуса, я поднялся на самый верх скального гребня, где, хоть и было прохладно и ветрено, зато можно было спокойно дышать и сидеть, склонившись над страницей тетради.

Но сейчас, написав слово “ветер”, я сделал ошибку: просто ветра на острове не было. Как у чукчей в их языке нет слова “снег”, хотя они и живут среди снега, как рыбы в воде, так и я не знал здесь просто “ветра”. Для каждого времени и для каждого места на острове ветер был свой: от легчайшего шевеления воздуха где-нибудь в затишке, в цветущем распадке, где дышишь мёдом ивовой пыльцы, до гневного воя в нагромождениях скал, там, где даже чайки не могут взлететь против ветренных мощных порывов.

Недаром же в языке у поморов было так много названий различных ветров: шалоник и север, моряна, полуденник, запад; в самих этих названиях прямо-таки ощущаешь суровость поморского быта. Я тоже узнал здесь немало разновидностей ветра. Так, просыпаясь в укрытии, я по шуму прибоя мог сразу определить, с какой стороны и с какой силой дует сегодня. Если дуло от тундры на море, то волны прибоя бывали пологими и шумели негромко. Если же задувало от моря — да ещё против отлива, — то прибой был напористо-шумным: море спорило с ветром, кипело барашками пены, и на душе становилось тревожно.

Первый шторм, который я пережил здесь, на острове, случился в начале июля. Ветер поднялся так неожиданно, словно он сидел где-то в засаде и выскочил вдруг. Был отлив; я как раз брёл по отмели, собирая мидий, шагая где посуху, где по колено в воде, и меня так толкнуло порывом внезапного ветра, что я едва устоял на ногах. Лужи, чей блеск простирался до самого мыса, не просто покрылись искрящейся рябью — они вдруг поползли под ударами ветра, который толчками, как будто резвясь, перегонял их с места на место. Водяная солёная пыль заклубилась вокруг. Среди чаек, кормившихся вместе со мною на литорали, поднялась настоящая паника. Птицы истошно орали, пытались взлететь, но ветер небрежно швырял их обратно на отмель, словно чайки были тряпичными.

Я побежал искать тихого места у подножия берегового обрыва. Но пока пересёк литораль, весь вымок от летящих над отмелью столбов водяной, с песком перемешанной пыли. Небо, только что чистое, быстро мутнело. Солнце, зависшее в самом зените, превратилось сначала в оранжевый диск, потом этот диск покраснел, стал фиолетово-сизым — и вот уже солнца не стало в той мгле, что повисла над морем и небом.

Ветер так завывал, с такой силой бросался на скалы (под одной из которых прятался я), словно он хотел перемешать всё, что было на свете, в единую, слитную массу: ветру будто не нравилось то, что и море, и небо, и остров существуют покуда раздельно. Уже было трудно понять, где кончается суша, а где начинается море, где вода, а где воздух? Где вообще те границы, что прежде так чётко и ясно делили весь мир на части? Вокруг всё бушевало, куда-то несло, завывало, свистело, клубилось; смешались как

будто не просто стихии, но само пространство и время запутались друг вокруг друга и уже не могли разобрать, кто есть кто...

Сколько длилась эта свистопляска, сказать трудно. Но стихло всё так же внезапно, как и началось. Словно вдруг сдёрнули занавес мглы, и я снова увидел весь мир в его прежних, привычных границах. Ветер стих. Солнце будто всплывало из мгlistых, редющих туч: вот появился его фиолетовый диск, вот он сделался красным, затем оранжевым, и вот уже солнце сияло опять, словно шторма и не было вовсе. Я встал с корточек, разминая затёкшие ноги. Волнение моря почти улеглось, и только по берегу оставались следы пролетевшего урагана. На отмели, столь мне знакомой, прибавилось луж; коряги и доски чернели там-сям по сырой полосе литорали; а поодаль, у основания мыса, лоснились чёрная туша тюленя. И я поспешил к ней, надеясь разделать её ещё до того, как начнётся прилив.

24

Обдирая мох с каменистой поверхности тундры — он был мне нужен и как подстилка, и как перевязочный материал, — я поражался тому, до чего же здесь тонок почвенный слой: редко где он был более сантиметра. И было ясно: пропешина, что осталась под содранным мхом, зарастать будет целые десятилетия, а, может быть, так и останется серою, незаживающей раной. Здесь, где снега и льда не было всего-то три месяца, с июля до сентября, за эти три месяца растениям надо было успеть завершить полный жизненный цикл, и только здесь я вполне осознал, что такое земля.

Как много нужно всего — солнца, влаги, бактерий, грибов и лишайников, — чтоб год за годом по миллиметрам наращивать почву. Сначала лишайники покрывают голые камни, потом они понемногу врастают в их толщу и разрыхляют поверхностный слой валунов; затем на камнях поселяются мхи-хазмофиты, которые продолжают незримое разрушение камня. И проходят века, прежде чем раскрошившийся камень превратится хотя бы в подобие почвы, в тот слой, на котором способны расти камнеломки и лютики, маки и незабудки. А потом ещё сколько должно пройти зим и лет, сколько полярных ночей должны сменить дни, прежде чем почвенный слой станет толще на несколько миллиметров и сможет выдерживать не одни лишь цветки-эффемеры, но в нём смогут укорениться и кустики ивы, черники, полярной берёзы и клюквы.

Внизу — камень и мерзлота, сверху — почти вечные льды и снега; и тончайшей прослойкой меж ними лежит нечто живое: полярная почва. А я вот нагнулся, запустил пальцы в мох — и одним грубым движением содрал то, что росло и копилось веками... Я даже испытывал стыд перед всею цветущей тундрой за такое жестокое с ней обращение. Но, с другой стороны, я боролся за жизнь — и, как часть этой жизни, имел право не очень-то мучиться угрызеньями совести.

О земле и о том, что с ней связано, мне здесь думалось часто, как и вообще вспоминалось о том, чего я был лишён. Да, слой почвы был здесь так тонок, что его можно было разрушить одним грубым движением; но не так ли, думалось мне, и со всей человеческой нашей культурой? Её слой нарастает веками, поколение за поколением трудятся, чтоб хоть немного улучшить, обогатить и просветлить нашу жизнь, а потом вдруг врываются грубые силы революции или войны, и миг обнажается злобно-зверинная суть человека...

Мыслей подобного рода ко мне приходило немало, но я не хочу засорять ими дневник. Лучше буду писать об отрадном. Вспомню о том, например, как жирна и черна земля моей родины, Курщины. Чернозём там такой, что его хоть намазывай вместо масла на хлеб. А воткни в землю палку, и она зазеленеет и через пару лет станет деревцем.

А какая густая лиловая грязь липнет там на сапоги — так, что даже тугая струя из водоразборной колонки долго не может отмыть голенища? А как размокает дорога под ливнем: когда вода пенится в колеях, и скоро дорога превращается в непроходимое месиво, в жирную чёрную кашу?

А погожий сентябрь, когда пахнут поля под озимые? Трактор, пофыркивая синим дымком, тащит плуг по увалу холма, золотая щетина стерни вот-вот, кажется, вспыхнет на солнце, а зеркальные лемехи плуга словно выдавливают из земли тугие ломти чернозёма...

Я могу без конца вспоминать родной чернозём, его запах и цвет, — разумеется, в собственном воображении, — словно только здесь, на каменном острове, я вполне осознал и узнал, что такое земля. Но почему, чтобы встретиться с чем-то, надо с этим сначала расстаться? Почему лишь разлука приносит нам горькую радость от встречи — всегда запоздалой? Ни человек, ни предмет, никакое событие жизни, пока существуешь с ним рядом, не видится так, как потом, уже после разлуки.

Вот и моё пребывание здесь, на затерянном острове, стало, в сущности, встречей со всем, что я знал и любил в своей жизни. Только здесь, потеряв всех и всё, я как будто прозрел и проснулся после долгой и смутной дремоты, в которую был погружён...

25

И, стоило вспомнить лоснящийся блеск чернозёма, как мне вспоминался горячий, с отливом, блеск туго зачёсанных чёрных волос, иными словами, мне сразу же вспоминалась Галина.

Год примерно назад, зайдя в овощной магазин, я обратил внимание на смазливую продавщицу-хохлушку. Блеск смородиновых глаз, щёки с ямочками, белозубая радостная улыбка — всё в ней было, как будто с картинки, с какой-нибудь иллюстрации к малороссийским повестям Гоголя.

— Давно здесь работаешь? — спросил я продавщицу, пряча в сумку картошку и помидоры.

— Ни-и: усега пять годин, — посмотрев на часы, отвечала она, смешно путая русские и украинские слова. — Я к тётке приехала, а она попросила меня подсобить в магазине.

Она засмеялась, и я засмеялся с ней вместе. Певучий, грудной её голос был очень приятен.

Ещё несколько раз, заходя в магазин, я болтал с нею, как старый знакомый. Галина была из тех женщин, которым говорить было столь же естественно, как дышать, похоже, молчать она просто была неспособна.

Через несколько дней, возвращаясь с работы и будучи навеселе после того, как мы отмечали день рождения шефа, я увидел Галину, тащившую сумку громадных размеров. Торгаши-челноки называли такую “медведь”.

— Га-аля! — воскликнул я радостно. — Ты ж надорвёшься! Давай, я тебе помогу...

Галина узнала меня, обрадовалась и, с облегчением передавая мне сумку, она начала тараторить так, как будто всего тяжелее ей было молчать, а не тащить свою ношу.

— Ой, Олег, да тебя же ж мне Бог послал! Мамочки, до чего же ж я рада... А я тут иду да гадаю: ну, кто б пособил? А потом бачу: ты! Это я кой-чего набрала, борщ сварить: ну, капуста там, сельца, картошечки трохи...

— Это всё для борща? — изумился я, шумно дыша от натуги. — Да тут провианту на три года вперёд!

— А я запасливая! — смеялась Галина. — Олег, потерпи трохи: тёткин дом уже вот он...

Мы поднялись на пятый этаж, и я, выбиваясь из сил, затащил сумку в квартиру. Никакой тётки там и в помине не оказалось. Поскольку я был весь в поту и ещё не вполне протрезвел, то, не церемонясь, спросил хозяйку:

— Послушай, я у тебя душ приму, ладно? А то у нас воду горячую отключили.

— Конечно-конечно! — захопотала Галина. — Вот тебе полотенце: будь, Олежек, как дома...

Когда я вышел из душа, стол на кухне уже был накрыт: медовая, с перцем, горилка, помидоры, лук, сало, котлеты — всё было так аппетитно и так неожиданно, что я рассмеялся:

— Ты, Галя, просто волшебница! И как ты успела?

— Ну, а як же ж? — блестела глазами Галина. — Должна же ж я тебя отблагодарить...

Пока я мылся, Галя переделалась в домашний халатик, и теперь глаз было не оторвать от ложбины меж смуглых грудей, от всех выпуклостей и впадин её гладкого тела, горячего даже не то, что на ощупь — на взгляд.

Мы с ней выпили по хорошей стопке горилки, потом повторили, и стало ясно, что я сегодня уже никуда не уйду вот от этих блестящих смородиновых глаз, от грудного певучего голоса и от горячего тела Галины...

В постели, как и во время застолья, Галя думала только о том, как бы мне угодить. Похоже, красивая эта хохлушка с молоком матери усвоила, что мужик — *чоловик* — есть существо высшего порядка, и угрожать ему, — что за столом, что в постели, — есть святая обязанность женщины. Мне это было так непривычно: большинство из тех женщин, с кем я общался прежде, считали высшими существами, напротив, себя, и первое время я ощущал себя рядом с Галей каким-то восточным владыкой. Все мои пожелания исполнялись мгновенно, и при этом с лица Гали не сходила приветливая, радостная улыбка. Да и фигура у моей новой подруги была восточного типа: широкие бёдра и тонкая талия, а грудь небольшая.

— Да что ж я так раздобрела? — порой сокрушалась Галина у зеркала, оглаживая бёдра. — Ты побачь, яка задница: как у кобылы, ей-Богу!

— Ты гарная дивчина, Галю! — смеялся я, хлопая её по тугой ягодице. — Баба должна быть, как баба, не то, что все эти худые селёдки!

— Правда? — радостно улыбалась она. — Ой, как я рада, Олежек, что я тебе нравлюсь...

26

А какие она мне варила борщи! Похоже, Галя считала, что накормить мужика — это много важнее тех глупостей, что происходят в постели. Только на кухне я видел в глазах у Галины тот блеск, тот огонь вдохновения, что превращал её из просто хорошенькой и говорливой бабёнки в истинную красавицу.

Борщ Галина не просто варила, а именно сооружала его, как скульптор творит изваяние или художник — картину. На столе, напоминающем мольберт с красками, лежали груды помидоров и перцев, и сахарно-белого лука, а Галя, отбивая ножом почти барабанную дробь, шинковала заправку для борща. По кухне летели сверкающие брызги, кипела кастрюля, шкворчала сковорода, и казалось, что даже предметы кухонной утвари возбуждены вдохновенным процессом готовки.

— Та-ак, теперь трюхи сальца... — шептала Галина. Она вытирала лоб тыльной стороной ладони и, обернувшись ко мне, поясняла:

— Сало нужно, щоб жовтое, с прошлого року...

Достав из холодильника кусок прошлогоднего сала, она отрезала несколько “скибок”, бросала их на разогретую сковороду и, пока сало шипело и таяло на сковороде, Галина бросала в кастрюлю картофель, фасоль, помидоры и перец. С лица её не сходила озабоченность мастера; казалось, она всякий раз заново разрешала сложнейшую эту задачу: что, как и в каком порядке загружать в клокотавший бульон?

Порой, зачарованно наблюдая за приготовленьем борща, я терял ощущение времени, места и себя самого.

— Эй, ты что — спишь?! — смеялась Галина. — Иди, руки мой: борщ скоро будет готов!

И вот она, с улыбкою счастья на разгорячённом лице, ставила передо мною тарелку густого, в оранжевых блёстках, борща. Это было настолько красиво и пахло так вкусно, что хотелось нырнуть с головой в эту пёструю, пряную смесь из моркови и свёклы, фасоли и лука — и ещё, уж не знаю, чего.

Передать вкус борща на бумаге, конечно же, невозможно. Кто когда-нибудь ел настоящий украинский борщ, тот поймёт меня и без лишних слов; кому же не выпало этого счастья, тот так и останется непосвящённым. Я за едой впадал в состояние транса: и взгляд мой, и мысли тонули в мерцающих

проблесках жира, в той сложной, густой мешанине еды, которая не отпускала меня, пока я не дочёрпывал ложкой остатки...

Обыкновенно после обеда, после трёх-четырёх добрых стопок горилки мы с Галей переходили в постель. Но и на пышной перине, и даже на мягком, податливом теле Галины во мне продолжался томительный обморок мыслей и чувств. Я тонул — или плыл? — в сложной смеси вздохов и скрипов кровати, мякоти женского тела и блеска лоснящихся чёрных волос, но меня самого словно вовсе и не было в этом тающем, зыбком, куда-то скользящем и тонущем мире...

27

“Где я?” — была первая мысль, когда я просыпался. Как ни душен, ни тягостен был томительный обморок сна на толстенной перине, в объятиях Гали, но пробуждение было ещё тяжелее. Продавив жаркое облако пуха, я оказывался словно в яме, а горячее женское тело лежало на мне и мешало дышать. А уж если блестящие, как чернозём, волосы Гали падали мне на лицо, иллюзия захоронения была почти полной. К тому же и пахла Галина чем-то очень густым, земляным — то ли палой листвой, то ли прелой древесной корою? — и хотелось как можно скорее освободиться.

Но не так-то просто было выбраться из глубокой, податливой ямы постели: я копошился в ней, словно муха в меду. Руки мои безуспешно пытались схватить пустоту, кровать покачивалась и скрипела, а Галина сквозь сон прижималась ко мне ещё крепче.

Наконец, задышавшись, я кое-как выбирался из-под Галины, отирал с лица пот и с невыразимой тоскою оглядывался вокруг. Сумрак комнаты тоже казался могильным: в этих всех занавесочках, ковриках, вазочках и цветочных горшках я чувствовал нечто настолько чужое, что эту комнату, как и постель, мне хотелось покинуть как можно скорее. Нечем было не просто дышать, нечем — жить; не будь комната так высоко — всё же пятый этаж! — я бы вполне мог, схватив с пола одежду, сигануть в окно.

Но Галина, проснувшись, по-своему толковала мой мрачный, задумчивый вид.

— Проголодался? — участливо спрашивала она. — Обожди трохи — я вареники разогрею!

Икнув, я мычал что-то невнятное, а Галина, приняв этот звук за голодные стоны, спешила на кухню. Оттуда слышалось звяканье, плеск воды, шум горелки — раздавались неистребимые, вечные звуки стряпни.

Что было делать? Вздохнув, натянув джинсы, я тоже плёлся на кухню. Созерцание Гали, колдующей возле плиты, меня всегда завораживало. В сущности, её настоящее место и было именно здесь, среди мисок, кастрюль и шумовок, в кипении кухонных звуков и запахов. И в глазах, и во всём её свежем, как майское утро, лице пылал жар вдохновения; порою казалось, что всё вокруг Гали шкворчит, бурлит и томится даже не столько от пламени синих горелок, сколько от жара, азарта, огня, что пылают в душе у самой поварахи. Даже в постели она не бывала так самозабвенна, как возле плиты; любуясь Галей, я забывал и тоску, и желание сбежать, и хотел только одного: поскорее приняться за вареники с вишнями.

Казалось бы: как можно что-либо съесть сейчас, всего через пару часов после обеда? Но стояло только взглянуть на тарелку вареников, и бес обжорства опять пробуждался во мне. Галя делала их небольшими, но вишнями начиняла так щедро, что, лишь коснись вилкой золотистого бока вареника — и вишнёвый сок тут же потечёт на тарелку, мешаясь с густою сметаной...

Но тогда, год назад, ни борщи, ни блины, ни котлеты, ни даже вареники с вишнями не могли меня долго удерживать возле Галины. Я чувствовал некую как бы опасность, что исходила от мира её стряпни и постели; насытившись и едой, и горячим податливым телом Галины, я уже думал, как бы сбежать, и искал лишь предлога, чтоб ускользнуть от её хлебосольной опеки. И когда я наконец-то оказывался на улице, то напоминал себе узника, сбежавшего из тюрьмы.

Но чувство свободы быстро слабело и гасло; зато нарастало знобящее чувство тревоги, бездомности и неуюта, и уже через несколько дней меня снова тянуло к Галине, к её пирогам и блинам, и к её жаркому и безотказному телу...

28

Но пора возвращаться на остров. Нынче ясно, но холодно: дует моряна. Ледяной этот ветер сразу напоминает о том, что вокруг — Крайний Север и что всё это пышное разноцветие тундры продлится недолго. Я озяб, сидя над дневником, и теперь, чтобы согреться, должен скорее заняться костром.

Достаю из кармана линзу — ценнейшую из находок, что мне подвернулись на заброшенной базе. Не знаю уж, от какого прибора она там осталась, но фокусирует свет она здорово. Вот, я сейчас распишусь на тетрадном листе...

(В этом месте тетради, действительно, виден волнистый обугленный след. — Примечание издателя).

Каково? Этой линзой в погожие дни я и разжигая костёр, можно сказать, напрямую от солнца. Главное, чтобы растопка была сухая, лучше всего — подсохший мох, собранный с валунов, и важно не торопиться, делать всё точно, размеренно, без суеты. Сначала смять ломкий, крошащийся мох, чтоб получился комок, похожий на войлок, затем аккуратно подсунуть его под ивовые тонкие прутья — быстрее и легче всего загорается именно ива, — а потом поудобней устроиться на защищённой от ветра площадке. Иногда я ложился, иногда вставал на колени и, оперев руку с линзой о камень, начинал ловить солнечный свет.

В эти секунды не только свет солнца собирался в тугое, слепящее пятнышко размером с рисовое зерно, по бокам от которого ложились два радужных полукольца, но и всё моё зрение словно собиралось в пучок. Я видел лишь то, что было прямо перед глазами: сплетения нитей белёсого мха, изломы краснеющих веточек ивы и тонкие тени от них, почти не отличимые от настоящих ветвей. Всё это виделось так отчетливо, резко, что даже казалось: уже сам твой напрягшийся взгляд способен поджечь этот мох, эти прутьики ивы...

Зерно солнца вздрагивало в такт пульсу, бьющемуся в руке. Проходило секунд десять-пятнадцать — и от солнечного пятна начинал течь дымок: скоро весь комок мха был напитан этим молочным дымом. Потом в этом дыму начинал трепетать лоскуток бледного пламени. Нити мха и тончайшие веточки ивы словно таяли в огне; вот пламя проело пещерку внутри плотно сбитого мха и, качаясь на ивовых ветках, попыталось подняться повыше. Тогда я откладывал линзу и дул — поначалу так тихо, будто что-то шептал осторожному пламени. Огонёк прыгал с ветки на ветку и рос — уже был отчетливо слышен его полотняный, взволнованный треск, — и как-то вдруг прорастал сквозь сухие дрова множеством алых, живых язычков!

Иногда я переносил огонь в хижину, иногда, если нужно было высушиться и обогреться, оставлял костёр на открытой площадке. Здесь можно было не опасаться, что пламя достанет до кровли и спалит мою хижину, к тому же отсюда был виден морской горизонт. Надежда увидеть проходящее судно или услышать гул мотора невысоко летящего самолёта жила во мне постоянно; но пока ничего, кроме гомона чаек да рокота моря, не мог уловить мой всегда настороженный слух.

29

Когда позволяла погода, я спал на прогретых камнях. Чтобы не пропадали зря угли, переносил костёр в сторону, затем подметал костровую площадку и устилал ложе слоем берёзовых веток.

Не помню, когда ещё в жизни я испытывал такое блаженство, как в те минуты, когда, наконец, опускался на жаркое ложе. Казалось, весь холод, вся сырость, что скопились во мне за последние дни, выходят сейчас вместе

с крупным ознобом, и с ними уходит тоска, неуверенность, страх — всё то, что сильнее всего меня мучает здесь. Казалось, не так всё и безнадежно, раз способен себя согреть среди голых скал, на берегу Ледовитого океана. Не жась, я сладко потягивался, поворачивался сбоку набок — и вот-вот был готов замурыкать, как кот на горячей печи.

Потом я задрёмывал на горячих камнях. Один сон повторялся снова и снова: это был сон о пекарне в селе Студенец. Да, когда-то — на шестом, что ли, курсе? — нас отправили в это село на уборку картошки. Но снилось не то, как мы подбирали грязные клубни, не то, как пили портвейн в затрапезной столовой, и даже не то, как ходили на танцы и отбивались от местных парней, ревновавших нас к местным девицам. Нет, настойчиво и неотвязно мне снилось другое.

Некогда, проходя под дождём по окраине Студенца, я набрёл на краснокирпичное здание сельской пекарни и зашёл внутрь; а теперь и во снах, в их расплывчато-путаных дебрях, я снова и снова выходил всё к тому же приземисто-грубому зданию, что краснело над склоном оврага. Я опять ощущал тот густой, дрожжевой хлебный запах, который так неожиданно было почуять среди запахов лиственной прели, грибов и опилок, золы и намочшей извёстки — среди запахов сельской осенней окраины. Когда я, пригнувшись, входил внутрь пекарни, меня обдавало таким густым хлебным духом, что сам воздух, казалось, можно откусывать и с наслаждением жевать. Духота и жара здесь была нестерпимая: по лицу тёк пот, и рубаха липла к спине.

В сумраке двигались женщины в белом, их халаты были надеты прямо на голое тело, и могучие зыбкие груди отчётливо были видны через влажную ткань. Моего появления никто, кажется, не заметил: бабам-пекарям было не до меня. Вот я тихо присел, отирая лицо, на мучную скамеечку возле стены. Взгляд то и дело выхватывал что-нибудь новое: чан с опарой, решёта, ухват, кочергу, бруски серых дрожжей на столе или счетверённые формы для выпечки хлеба. Всё здесь было покрыто мукой; даже воздух насыщен был тонкой мучнистой пылью: она то слоилась, как дым, под едва тлеющей лампой, то взлетала клубами, когда кто-нибудь из распаренных женщин лил воду в чугунный, мукой припорошенный чан.

Но всего интереснее было то, как дышала опара. Чугунные чаны, в которых она подходила, казались живыми: в них шевелилась землистая вязкая масса. Вот тяжёлая, сонная туша опары вздувалась горбом, из её глубины поднимался пузырь, потом пузырь лопался, и его лоскуты оплывали по стенкам... Отчего-то, — быть может, по совпадению звучания имени? — мне вспоминался академик Опарин, чью теорию о зарождении жизни упорно вбивали нам в головы ещё в школе. Сейчас её мало кто помнит: первичный бульон, грозвые разряды, комочки белка, что сбивались, как масло во время пахтанья, но когда я смотрел на живую, вздыхавшую и опадавшую массу опары, когда слышал те шёпоты, вздохи и всплески, которыми сопровождался процесс созревания теста, то мысли Опарина о самозарождении жизни уже не казались мне такими уж дикими.

Из забытья — я, похоже, засыпал в своём сне — меня выводил звон заслонки печи. Молодуха с распаренным потным лицом запускала в печь кочергу и с грохотом выволакивала оттуда чугунные хлебные формы. Жар, и так нестерпимый, становился настолько силён, что глаза начинали слезиться. Но огненной, с алым лицом, молодой рыжей бабе этот жар был привычен — в ней и самой было жара не меньше, чем в раскалённой печи, — и она, весело переключаясь с товарками, гремела тяжёлыми хлебными формами по большому столу. Вот она с грохотом опрокидывала лотки — и на столе появлялись бруски золотистого, чуть подгоревшего, хлеба.

— Эй, студент! — слышал я оклик. — Хочешь хлебушка?

Я вставал со скамьи, делал шаг и протягивал руку, а румяная баба огромным ножом отсекала мне треть горячей буханки.

— Только сразу не лопай, — смеялась она. — А то кишки сварятся!

...Бабы-пекари лили воду, таскали мучные мешки, раскладывали по формам тягучее тесто, гремели печными заслонками, двигали чаны и что-то кричали; но вот сумрак сна как-то странно редел, голоса перекликавшихся

женщин становились всё выше, пронзительней и отдалённей, и я вдруг понимал, что это кричат уж не хлебные бабы из сна, а чайки кружат надо мной в стылом северном небе...

30

Когда остывали нагретые камни, лежать на холодном ветру больше не было смысла, да и желудок требовал пищи, так что я поднимался с прямого ложа, зевал и потягивался, а потом отправлялся на промысел.

Собирательством я занимался не только у моря, хотя полоса литорали кормила надёжней всего, но и в тундре, которая к середине июля была уже не такой разноцветной, как в первые дни. Зато созрела морошка, да и брусника кое-где начинала краснеть. А за перевалом, у озера уже появлялись грибы. Подберёзовики, которые там вырастали, точнее было бы называть надберёзовиками, потому что их бурые шляпки возвышались над порослью ивы, полярной берёзы и северной низкой рябины. Правда, грибы я ел редко: чтобы поджарить их, у меня не было масла и сковороды, а варёные подберёзовики были безвкусны, зато я высушивал их на ровной скальной площадке. “Кто знает, — думал я, рассыпая грибы по камням, — сколько мне здесь доведётся прожить? Запас карман не тянет...”

Грибы вырастали до громадных размеров, особенно на развалинах базы. Причиной, конечно, была радиация. Тут не нужно было и счётчика Гейгера — достаточно было взглянуть на гигантские бурые шляпки размером с тарелку. Аппетита мне это, конечно, не прибавляло. А уж то, как грибы могут накапливать радиацию, я знал хорошо: Андрей, мой приятель с кафедры токсикологии, занимался как раз этой темой.

Зато морошку я ел с большим удовольствием. Больше того: я готовил из неё брагу. Если залить растолченные ягоды пресной водой и поставить на солнце — для этого как раз подходило ведро из баллона резиновой лодки, — то уже через неделю настой покрывался оранжевой пеной, начинал испускать винный дух и, если выпить пять-шесть глотков этой бражки, то голова начинала кружиться. Живот, правда, тоже крутило — морошка дображивала в кишечнике, — но я всё-таки не оставлял винодельческих экспериментов. Чтобы очистить мутную брагу, я догадался бросать в неё уголь, и она скоро посветлела, а морошковое вино после такой очистки усваивалось куда лучше. В общем, известную поговорку “Голь на выдумки хитра” я подтвердил многократно и, в целом, успешно. Жаль, у меня было мало свободной посуды, а на созревание браги уходило, как ни крути, дней восемь-десять, поэтому мой винный запас был ограничен.

Но заготавливал впрок я не только морошку: гораздо важней для меня была квашеная берёза. Хорошо всё-таки, что я читал кое-что о питании первобытных народов и знал, например, что у камчадалов берёзовый “силос” был основным источником клетчатки и витаминов. Одно было плохо: берёза горчила, и нечем было отбить её дегтярный вкус. Я уж и ягод к ней добавлял, и солёной водицы из моря, но дёготь есть дёготь, и перебить его вкус было трудно. Так что сначала я морщился, пережёвывая кожистые горьковатые листья, но потом, как и ко многому здесь, так привык, что мне стал даже нравиться горьковатый вкус квашеных листьев берёзы. И желудок мой с ними справлялся неплохо — не хуже, чем с ягелем или грибами.

Какие ещё дары предлагала мне тундра? Про ягель и исландский мох я уже упоминал; действительно, то, чем кормились олени, могло при нужде сгодиться и человеку. Я добавлял эти лишайники в суп: их сероватая масса делала варево более сытным.

А первые пару недель, когда чайки ещё высиживали птенцов, я добывал и чайчьи яйца. Жаль, что теперь птенцы уже вывелись, — с каким удовольствием я бы пожарил сейчас яичницу! Но спасибо им, чайкам, уже и за то, что они поддержали меня в самое трудное время, когда голод терзал меня особенно сильно.

Конечно, собирать яйца чаек на скалах было совсем не то, что выслеживать, где снеслась курица, в детстве, в деревне у бабушки мне приходилось делать это часто. Память включается даже от пустяка, от намёка, а тут был прямой и конкретный отсыл: протянув руку к пёстрому яйцу чайки, лежащему среди серых камней, я как бы одновременно протягивал руку и там, в своём детстве, пытаюсь достать до ещё тёплого бока яйца, которое только что снесла наша пеструшка...

Память детства следовала за мной неотступно. Один, теперешний, я лез по скалам под гвалт встревоженных птиц, из-под ног сыпалось серое крошево, лишайники, покрывавшие камни, противно и больно набивались под ногти, и в голове билась мысль: “Как бы не сорваться...” И в то же самое время тот, другой я, которому было года четыре, услышав квохтание только что снёшейся курицы, выбегал из прохладного сумрака хаты на солнечный двор.

— Смотри, не раздави! — улыбаясь, кричала вслед бабушка.

Давеча я, в самом деле, прибежал весь в слезах, неся вместо яйца на своих растопыренных пальцах лишь тягучие нити желтка.

Найти, где снеслась курица, было непросто. Куры у бабушки не любили нестись в курятнике и выбирали для кладки самые потаённые места: густой вишенник, где пролезть могла только кошка да я, бурьян у проезжей дороги, поленницу дров или даже тот угол сада, где стояли дедовы ульи и где кур ничуть не пугало гудение пчёл. Сколько мы с бабушкой ни подкладывали под насесты курятника известковых яиц-обманок, — считалось, что куры охотней кладут яйца там, где уже кто-то снёсся, — но приучить их к порядку никак не могли. Я этому, впрочем, даже радовался: поиск яиц был одной из любимейших игр моего деревенского детства.

Вот мой призрак-двойник, который крадётся сквозь вишенник в то же самое время, как я пробираюсь по рыжим камням и отмахиваюсь от истошно орущих чаек, — мой двойник замечает, как что-то белеет в пыли, в дальнем конце неприметного лаза. Колени и локти уже все в пыли, спина исцарапана ветками, но яйцо словно бы заколдовано и не приближается. Наконец, потянувшись до хруста в плече, я касаюсь-таки самым кончиком пальца бархатистого, тёплого бока яйца и пытаюсь его перекатить поближе к себе. Это трудно, и я мучаюсь долго; наконец, яйцо тепло и округло ложится в ладонь. Оставаясь лежать на спине, я подношу его к самым глазам и смотрю сквозь него на разбитое ветками, искристое солнце. Яйцо розовеет и светится; но я с ещё большим восторгом, чем этот его розовеющий свет, вижу нежное пёрышко на скорлупе, вижу трепет его, и вдруг понимаю: дрожь пёрышка — это моё собственное дыхание...

Случалось, что мой пятилетний двойник начинал жить настолько самостоятельной жизнью, что призраком становился теперешний я — тот, который, неловко ползая по камням, собирал яйца чаек. И был нужен особенно резкий, пробуждающий меня звук — крик поморника, ударившего меня крылом в спину, или грохот камня, скатившегося со скалы, — чтобы я возвратился из детства в сегодняшний день.

Пёстрые яйца чаек были куда меньше куриных, и, чтобы заморить червячка, надо было набрать их не менее дюжины. Поначалу я пил яйца сырыми; потом догадался, как можно делать яичницу даже без сковородки. На плоский камень, нагретый в костре, я выпускал пять-шесть яиц, и они прилипали, шкворча, к его раскалённой поверхности. Глазунья красиво желтела на камне. Даже соль можно было набрать-наскрести в час отлива на валунах литорали; впрочем, вместо того, чтоб глазунью солить, я посыпал её истолчённой скорлупой. Так было вкуснее, к тому же, известь скорлупы восполняла мои потребности в кальции.

Впрочем, о чём это я? Не о том же, как готовил яичницу или толлок скорлупу, я хотел рассказать; нет, я хотел написать о яйце вообще — о том чуде, какое содержится в нём. Надо же: в этой вот пёстрой скорлупке, которую я могу раздавить двумя пальцами, живёт бесконечность: не только та чайка, которая, может быть, вылупится из него, но и её дети и внуки, и весь многочисленный чайчий род, которому предстоит заселить не один этот остров, но и десятки других островов в океане. Мне даже делалось не по себе, когда я представлял, какие полчища чаек я загубил, проглотив пару сотен яиц; но я, вместе с тем, понимал, что жизнь предусмотрела и этот сценарий, — в конце концов, все здесь непрерывно едят друг друга, — и что сила жизни в её совокупности от этого не ослабевает.

Я думал: яйцо — это целый непознанный мир, микрокосмос, вселенная; и об этой вселенной мы знаем, в сущности, так же немного, как и о той, состоящей из звёзд и галактик, которую астрономы зондируют телескопами. Вспоминалась история, что меня некогда так умилила: то, как немецкий зоолог Карл Бэр, отец современной эмбриологии, упал в обморок от восторга, впервые увидев под микроскопом яйцеклетку собаки. Видимо, после этого он и изрёк знаменитое: “*Omnia vivae ab ovo*” — “Всё живое из яйца”.

А что, если нас со всем тем, что есть в нашей Вселенной, тоже кто-нибудь держит в руках? Он нас крутит и вертит, подносит к глазам и гадает: кто мы такие, откуда взялись и что с нами делать?

Подобные мысли всегда волновали меня, и такие минуты, когда я размышлял о себе и о мире, мне были очень важны. Ибо только тогда я себя признавал вполне человеком, то есть тем, кто не просто старается выжить, как всякий живой организм, но тем, кто старается осознать смысл всего, что вокруг происходит. Может быть, люди и есть как бы мысли Вселенной, её попытка понять и увидеть саму себя?

33

Иногда выпадали туманные, тихие дни. Тогда я и весь остров погружались в особое, как бы зависшее между явью и сном состояние.

Туман был такой густоты, что метрах в пятнадцати ничего было не разглядеть; а поскольку сидеть на одном месте было скучно и зябко, то я, чтоб согреться, шагал наугад по туманной тундре. Я шёл не спеша, опасаясь споткнуться; порою я долго стоял, вглядываясь в те миражи, которые то возникали из ключев тумана, то медленно таяли и расплывались.

Я не знал точно, где нахожусь, как далеко моя хижина и в какой стороне море; но вместе с тем я был полон предчувствием некой отгадки всего, которая скоро, — быть может, уже через десять шагов, — должна встретиться мне. О чём я был должен узнать — я не знал; но важность того, что я ждал и искал, была для меня несомненна.

Мои мысли в тумане — насколько возможно припомнить их в эту минуту — были расплывчато-зыбки, точь-в-точь, как туман, из которого все они и возникали. Зато воспоминания — те были, напротив, настолько отчётливы, что я начинал сомневаться, где же именно я нахожусь: на этом ли острове, в недрах тумана или там, куда отсылает меня моя память? Образы прошлого проступали из мути тумана, как проступает изображение на фотобумаге: они становились всё резче и всё достовернее. Я видел себя то в саду, рядом с ульями деда — пчёлы натужно гудели вокруг, и дедов дымарь дышал сладким дымом, — то видел мать, как сидела она на скамейке в тени, привалясь к стене дома, и на лице её было то самое выражение, какое я видел уже перед самой её смертью: застенчиво-робкое и виноватое, словно мать знала, что скоро умрёт, и просила прощенья за это.

Лишь теперь, в дни тумана на этом затерянном острове, я по-настоящему ощутил себя сиротой. Даже когда я хоронил мать, это чувство разлуки с ней не достигало такой безутешности и остроты; видимо, для того, чтоб прочувствовать чью-либо смерть, мы должны от неё отдалиться. Я брёл, сам не зная куда, спотыкался и падал, и снова шагал по камням и пружинящим мхам, и лицо моё было мокрым от слёз. Было только одно, что хоть как-то меня утешало: мать не узнала о том, что я пропал без вести...

Но туман не только подчёркивал моё одиночество; он же и помогал мне это самое одиночество преодолеть. Не знаю, как точнее выразить эту догадку о том, что реальность, в которой мы все живем, составляет лишь часть нашей истинной жизни. Со мною и раньше случались минуты, когда я вдруг ощущал ненадёжную зыбкость той реальности, что меня окружает, зато чувствовал, что настоящая истина мира лежит много глубже того, что мы можем понять и представить. Но раз это так, — а это, как верило сердце, именно так, — то всё, что случилось в реальности, вовсе не окончательно. Иными словами: умирающий не исчезает бесследно, но его жизнь продолжается.

И вот именно в эти туманные дни, когда видимый мир расплывался и таял, почти исчезал, и когда само слово “реальность” ничего конкретно-реального не выражало, мне начинало казаться, что мать моя где-то живёт, существует и даже, возможно, ещё продолжает за мной наблюдать. Туман всё настолько размыл, растворил — не только в моём окружении, но и в моём возбуждённо-дремотном сознании, — что призрачность и ненадёжность реальности становилась простейшим и не подлежащим сомнению фактом. И точно с такой же обыденной очевидностью я ощущал несомненность неосвязаемого: того, например, что мои мысли о матери и моя к ней любовь ничуть не зависят от времени, от расстояния — даже и от того, что её самой уже нет в этом призрачном мире.

Я то брёл по камням и по мхам, по переплетениям стланика, то стоял и разглядывал, как наплывают и тают химеры тумана, то снова брёл, как лунатик, от одного воспоминания до другого. Больше всего выплывало картин из раннего детства. Можно было подумать, я двигаюсь вспять, как бы против течения собственной жизни и, если не заплутаю, должен, в конце концов, выйти к истоку. Я понимал: детство — это спасение. Если мне и суждено выжить здесь, то лишь оттого, что я вспоминаю и тем воскрешаю то время, когда мои сердце, разум и воля были ещё неразделимы, когда я ещё не отпал от себя самого и жил изначально, цельною жизнью.

Разве я был не я, когда мать меня мыла в корыте? Помню сумрак натопленной хаты — мы тогда жили в деревне у бабушки — и помню, как под ногами, когда я переступал, грохотало податливо-гулкое дно жестяного корыта. Казалось, что подо мною не оцинкованный лист, а какая-то бездна, откуда доносится рокот далёкого грома. Но мне вовсе не было страшно: может быть, потому, что рядом я чувствовал мать. Её руки и голос окружали меня, казалось, повсюду. Она была и в солнечных бликах, скользивших по стенам и по потолку, и в колыхании кружевной занавески окна, и в тёплых, с журчанием льющихся струях воды, от которых всё тело моё покрывалось мурашками, даже в оранжевой целлулоидной уточке, что ныряла в ногах у меня, как живая, и, конечно, в той пышной мочалке, которая сильно, но ласково тёрла мне спину и с которой, шипя, опадали пенные хлопья... Мать была, словно воздух, которым дышало всё моё существо; и как мы обычно воздуха не замечаем, так же точно и я в своём раннем младенчестве не отделял свою мать ни от себя самого, ни от внешнего мира, о котором я знал пока только одно: этот мир ко мне ласков, он любит меня и никогда не устанет любить.

Куда же он, этот мир, подевался? Где то корыто с оранжевой уточкой, и тот тёплый сумрак, который был так ласков ко мне? Как случилось, что вместо него я теперь окружён этим серым холодным туманом, из которого время от времени, словно мираж, вылетает сова и опять исчезает в тумане? Через какую пробойну, трещину мира вытекла вся его ласка и вся теплота? Почему этот мир стал настолько пустым и холодным?

34

Как-то я заблудился. Места, где я брёл, были мне незнакомы, хотя, на первый-то взгляд, тянулись всё те же пологие склоны холмов, покрытые то белёсыми пятнами ягеля, то берёзовым стлаником. Всё тонуло в туманном седом молоке; а ягель — тот прямо-таки пил туман: казалось, как на дрожжах поднимается этот хлеб тундры.

Я брёл наугад, рассчитав, что уж к морю-то я как-нибудь всё равно выйду и по кромке воды возвращусь к хижине. Но ни берега моря, ни даже привычного шума прибоя я не мог различить, — туман, словно вата, гасил даже звуки, — и я брёл уже просто затем, чтоб куда-то идти и не слишком замёрзнуть. “Всё равно, — вздыхал я с тоской, — никуда мне не выйти ни с острова, ни из тумана...”

Слой мха пружинил; но под этой подстилкой попадались промоины, ямы и валуны, и ничего не стоило подвернуть ногу. Поэтому я старался ступать осторожно и рассматривал серо-зелёный покров тундры пристальней, чем это делал обычно. Вот я увидел два ряда камней и пошёл по ложбине меж ними. Но каково же было моё удивление, когда я заметил, что, двигаясь между камнями, я не просто иду по дуге, но шагаю по очень широкой спирали, словно ввинчиваясь в огромный каменный водоворот! Рукотворность этой конструкции из валунов не вызывала сомнений: только люди могли и придумать, и сделать такое.

“Да это же лабиринт!” — озарило меня. Я читал кое-что о подобных сооружениях. Некоторым лабиринтам саамов — древнейших племён, населявших Поморье, — было не менее пяти тысяч лет: то есть они были старше, чем пирамиды Египта. И я знал о мистике лабиринтов, о том, как влияют они на людей, оказавшихся в них.

Трудно передать мою радость от встречи с лабиринтом саамов. Можно было подумать, что я и впрямь встретил людей, хотя меня от строителей лабиринта отделяло, как минимум, несколько тысячелетий. Но всё же в каком-то мистическом смысле это была встреча с людьми. Пусть они жили давно, но они всё же жили среди этих холмов, мерзлоты, в окружении Белого моря; а значит, и у меня, уже не первого здесь человека, есть шанс спастись. Лабиринт был посланием мне через толщу веков: держись, мол, приятель, не так всё плохо...

Я ступал по ложбине меж рыжих камней — лишайники покрывали их, как позолота, — и казалось: не только я, но и пространство вокруг начинает испытывать головокружение. Всё вращалось и ускользало куда-то; и даже мерещилось, что в этом шаманском кружении мир вот-вот обернётся иной стороной. Тут же вспомнилось мне, как представляли саамы загробную жизнь: они называли её “верхней тундрой”. В этой жизни всё должно было быть наоборот, и земная реальность должна была как бы вывернуться наизнанку. Здесь, в реальности, холодно — в “верхней тундре” тепло; здесь мало пищи и женщин — там того и другого будет в избытке. Здесь человек непрестанно страдает и терпит — зато там, наверху, его ожидает блаженная нега покоя. И в этот “мир наизнанку” северные народы верили так, что даже покойников обряжали в небрежно пошитые, вывернутые наизнанку одежды, потому что там, в “верхней тундре”, куда отправляется мёртвый, всё окажется шитым на совесть и надетым, как надо.

Лабиринт представлялся проходом в иные миры: он уводил от привычных понятий пространства и времени в нечто такое, чему трудно найти объяснение. Пока я ступал по спирали — весь мир, со мной вместе, словно впадал в состояние транса. Вот-вот, казалось, я перешагну роковую черту и уже не смогу возвратиться обратно, в привычный мне мир.

Путь, которым я шёл, — эта вот полоса рыжеватого-зелёного мха между бурых, охряных и серых камней — всё никак не кончался. Странно, что перешагнуть невысокую грядку камней и выйти из лабиринта даже не приходило мне в голову: почему-то я был обязан дойти до конца. С каждым шагом круги лабиринта сужались, и пространство всё уплотнялось. Казалось, что лабиринт свивал само время с пространством в тугой, перекрученный свиток. Лабиринт был словно взрывом наоборот, тем, что не расширяло, а, напротив, сжимало пространство и время.

Наконец, я достиг его центра. Пошатываясь от головокружения, я топтался на месте — дальше идти было некуда — и с недоумением озирался вокруг. Путь, которым я шёл, и то уплотнение пространства и времени, что я ощущал, двигаясь между рядами камней, словно бы обещали мне разгадку всего. Но вот я стоял в середине, на пятачке рыжего мха и видел, что, кро-

ме меня самого, лабиринт не содержит никакой иной тайны и цели. “Так вот оно что, — начинал я догадываться. — Значит, всё дело в том, что мы движемся сами к себе...” И вся наша жизнь вдруг представилась мне большим лабиринтом, по которому каждый бредёт, чтоб достичь некой цели, но в итоге находит лишь только самого себя, с тем же грузом сомнений, надежд и вопросов, с каким он когда-то отправился в путь. “Да, от себя не уйдёшь, — думал я. — Живи хоть в толпе, хоть на необитаемом острове — всё равно будешь сам для себя и единственной целью, и главной загадкой...”

35

То, что наши дороги ведут нас к самим себе, стало одним из важнейших открытий. А вдруг и на этом затерянном острове я оказался лишь для того, чтобы встретить самого себя, чтоб рутинная обыденная жизнь больше не отвлекала меня от главного: от размышлений о том, что такое я сам?

Действительно, кто такой я — предмет моих размышлений? Разве эти вот грязные, в саже и ссадинах, руки? Или эти вот ноги в разбитых ботинках — ноги, которые я так боюсь подвернуть на камнях, что хожу осторожно и медленно, словно старик?

Вообще мой, так сказать, организм — это был вовсе не я. Нет, он, конечно, был со мной тесно связан, и все невзгоды и хвори, что с ним случались, влияли и на душу. И всё же тело — оно было чем-то вроде одежды, от которой я немало зависел. Но самая суть того странного, что называлось словом “я”, жила совсем иной жизнью, чем эти вот кисти и стопы, колени и локти, спина и живот. Чем больше я думал о себе, тем более я смотрел на собственное тело как бы со стороны. Я мог, например, заговорить со своей рукой или ногой — похвалить её или, наоборот, отругать, — как беседуем мы со старинным знакомым, чьи привычки и хитрости нам хорошо известны, но который всё же способен нас удивить.

Где же тогда был тот “я”, чьё присутствие ощущалось мной постоянно, но было вместе с тем так неуловимо и призрачно? Конечно, не в этом вот теле и не в окружающем мире, хотя, надо сказать, мне порою казалось, что часть меня живёт или в шуме ручья, или в цветах камнеломки, или в этом причудливом нагроможденье камней, — моё существо находилось как будто вне трёх измерений пространства, и именно это не позволяло мне встретиться с ним.

Может быть, суть моего существа находилась во времени, а не в пространстве, и поэтому поиски в мире трёх измерений заведомо были обречены на неудачу? Да, внутри времени искать было много теплее — почти горячо, как сказал бы ребёнок, играющий в прятки. Воспоминания прошлого — и особенно детства — это и был тот путь, по которому мне надо было идти, чтобы встретить самого себя.

Способность моя вспоминать то, что было, здесь, на острове, очень развилась. Возможно, этому помогало однообразие жизни, в которой один день был похож на другой. Надо было хоть чем-то разнообразить монотонность здешнего существования, а что, кроме воспоминаний, могло скрасить мою жизнь? Воспоминания сделались, можно сказать, фактором выживания — не менее важным, чем огонь или пища.

Я словно ещё раз проживал свою жизнь, старательно и подробно припоминая былое. Никогда прежде у меня не бывало возможности отдавать воспоминаниям так много времени, и никогда прежде я настолько не погружался в мир детства и юности. Даже когда я действительно был пятилетним ребёнком, я не чувствовал, не сознавал своё детство с такой обострённостью, как чувствовал и сознавал его здесь и теперь. По сути, детство моё началось только здесь, на необитаемом острове: прежде, в реальности, я прошёл как бы мимо него.

Вообще, только здесь я и начал жить по-настоящему, то есть внимательно, пристально и глубоко. Если раньше я жил как-то автоматически, как заведённая кем-то машина, то теперь я пытался исправить ошибки былого. Я словно бы проживал свою жизнь ещё раз, поправляя её черновик: опускающая длинноты и несуразности, убирая то, что казалось ненужным и скучным, но зато надолго задерживаясь на эпизодах, казавшихся прежде малозначи-

тельными, но теперь, в свете памяти, обретавших загадочность и глубину. Моя память работала, как режиссёр, который из торопливо отснятого, очень сырого, небрежного материала моей прошлой жизни теперь вдохновенно монтировал сложный, живой, увлекательный фильм.

36

Стоило мне, например, посидеть над потоком ручья, над бликами солнца, игравшими на разноцветном галечном дне, как мне вспоминался какой-нибудь далёкий ручей из детства, над которым я мог сидеть долго, зачарованный переменчивым однообразием текущей воды.

Вообще, ручьи, лужи, копанки детства были одной из любимейших тем моих воспоминаний. Мало что я любил так, как любил воду во всех её формах и проявлениях, от чашки чая или какого-нибудь питьевого вокзального бака до этого моря, которое, правда, чуть меня не погубило, но которое всё же кормило меня и от которого я теперь ждал спасения. Можно сказать, что из всех четырёх стихий, среди которых я жил, вода была главной, любимой.

А едва ли не первым воспоминанием детства была весенняя лужа с лягушечьей сизой икрой. Точнее сказать, это была воронка, оставшаяся от бомбёжек войны. Весной её заливало талой водой, и вот в ней-то лягушки и метали икру, а я с упоением разглядывал и эти сизо мерцавшие гроздья, и космы затопленной бурой травы, и яркое синее небо, что отражалось на глади воды.

Ну, сколько мне было тогда? Года, наверное, три, но помню, что эта весенняя лужа представлялась мне словно бы входом в иные миры. Никогда я так остро не чувствовал всю бездонность, таинственность жизни, как тогда, возле этой воронки с водой, под переливы лягушечьих трелей, которые пели громче, чем щёлкавшие по кустам соловьи. Вода, отстоявшая после недавних дождей, была совершенно чиста; каждый листик, травинка и ветка на дне выделялись отчётливо. Но конечно, всего удивительней были те изумрудно-лиловые гроздья, что висели в просвеченной солнцем воде: казалось, что это не просто икра, а сгустившийся солнечный свет. Искристые блики от этих клубящихся гроздьев скользили по бурому дну. Это было настолько красиво, что ты сидел рядом с лужей на корточках, как заколдованный, и старательно щурил глаза да наклонял голову сбоку набок — чтоб *оживлять* игру солнечных бликов на дне.

А потом ты протягивал руку, — она погружалась в сияющий холод, — и пробовал взять икряную мерцающую гроздь. Но она так обманно-легко протекала меж пальцев, что рука оставалась пустой, и только волна кольхала прозрачную воду. Ты снова и снова пытался схватить этот ускользающий сгусток, но он не давался. Не тогда ли ты в первый раз ощутил, как красота обманчива и неуловима? В руках оставалась лишь слизь, что тянулась меж пальцев, а зернистая гроздь продолжала парить в ледяной и прозрачной воде...

А какие ругады и трели выводили лягушки?! Переливчатый, влажный, воркующий стон раздавался то справа, то слева. Казалось, что это воркует и стонет сам воздух или сама озарённая солнцем, вода. А вот и певец: лягушачий самец растопырился в толще воды, и над его головой то вздуваются, то опадают белые пузыри. “Как же так? — думал ты. — Как из этого несуразного существа, которое так смешно растопырило лапки, рождается эта прекрасная песня?”

И вот даже сейчас, хоть на острове нет и в помине лягушек, я словно вижу и эту воронку с икрой, и кусты ивняка по её берегам — между жёлтых пушистых шаров напряжённо гудит и толкается шмель, — и словно слышу сквозь крики чаек и вздохи прибойной волны, как томно воркуют самцы тех весенних, из моего раннего детства, лягушек...

37

Моя любовь к лужам, к их волшебному миру день ото дня становилась сильнее. Больше всего поражало в нём то, что этот мир был доступным и близким, — что может быть проще, обыденней лужи? — и вместе с тем он

был загадочным, потусторонним. Поначалу, совсем ещё маленьким, я не понимал того, что вижу, не знал названий существ, что ныряли и плавали передо мной, и не знал ничего об их жизни. Потом, научившись читать, я жадно проглатывал книги, странные для ребёнка: жизнь насекомых была для меня интереснее сказок. Но зато я теперь понимал то, что рассматривал с таким интересом; и тот непрерывно клубящийся хаос живого, что кишел в каждой луже и приводил меня в состояние восхищённого недоумения, обретал имена и получал законы своего существования, и всё, что я видел в мерцающей толще воды, отныне имело свой смысл и своё назначение. Быть может, именно эти часы, что провёл я на корточках, сидя над лужами детства, и сделали из меня биолога: до сих пор я не знаю ничего интереснее, чем следить за таинственной жизнью природы. Просто вместо тех луж, над которыми я сидел в детстве, я стал склоняться над окулярами микроскопов; но, в сущности, это были всё те же лужи, то есть окна в иной, столь же близкий, сколь и недоступно-загадочный мир.

На поверхности лужи обитали вертячки и водомерки. Вертячки, живые как ртутные капли — за каждую чёрную, быстро скользящую, бусиной по воде распускались усы, — вертячки носились азартно-весёлою стайкой, как будто они непрерывно играли, и эта игра им никак не могла надоесть. Я уже знал, что у этих лаково-чёрных жучков глаза поделены на две половины: нижняя смотрит под воду, а верхняя — в воздух, потому что они обитают на границе миров, на поверхностной плёнке воды.

По этой же плёнке скользили и серые водомерки. Они были похожи на лёгкие лодки; разгоняясь толчками по прогибавшейся глади, они именно мерили воду: каждая пара коленчатых лапок оставляла круги на поверхности, и порою казалось, что начинается дождь. Хотя откуда ему было взяться, когда на синем небе не видно ни облачка? Мерещилось: передо мной на поверхности лужи идут заведённые кем-то часы самой жизни, её шестерёнки-пружинки без усталости крутятся, подгоняя друг друга, и нет ничего увлекательней, чем разбирать и следить, как работает этот живой механизм.

Жизнь в толще воды была совершенно иная: там обитали жуки-плавунцы и жуки-гладыши. Последние напоминали живые арбузные семечки: они шустро шныряли в зарослях водорослей, всегда исчезая и появляясь внезапно. Под надкрыльями этих жуков серебристо поблёскивал пузырёк воздуха — он был чем-то вроде кислородного баллона у аквалангиста, — и подчас их, гладышей, и можно-то было заметить лишь по этому серебристому блеску.

А ещё в толще лужи, особенно в мелких, прогретых её местах клубились полчища водяных красных блох. Порой вода казалась кроваво-красной — до того густо кишел в ней этот планктон.

А что было глубже, на илистом дне? Там, среди листьев и веток сонно бродили ранатры и скорпионы. Листообразное тело водяных скорпионов переходило сзади в трубочку-дыхальце, очень похожую на листовую черенок; и, если б они не переползали с места на место, скорпионов было бы не отличить от нападавшей в лужу листвы. Донные жители существовали в особом, замедленном ритме: они вяло переползали по чересполосице солнечных пятен, лежащих на дне, и чуть оживлялись лишь только тогда, когда им попадалась добыча. Вообще, тот мир луж, что я наблюдал, был очень жесток. Там шла война всех против всех, там постоянно кого-то подстерегали, ловили и пожирали. Но пока я был маленьким, эта всеобщая битва за жизнь представлялась мне всего лишь забавной смесью игр в прятки и догонялки...

38

Но пора возвратиться — хотя бы на время — в реальность. Нынче утром, пока ждал отлива, я пересмотрел свои записи и заметил серьёзный пробел. Я же ничего ещё не написал о военной базе, на руинах которой нашёл так много вещей, помогавших мне выжить.

Скажем, эти тетради — они тоже с той базы. Как и карандаши, и четыре свечи, и линза, которой я в ясные дни разжигая костёр, и кастрюля, в которой варю себе суп из грибов, мяса нерпы и ягеля, и шинель, под ко-

торой я сплю. А колючая проволока, на шипах которой так удобно подвешивать и сушить окуней? А лист жести, на котором я жарю мидий? В общем, если б не база, вряд ли бы я сидел сейчас обогретый и сытый, и тем более вряд ли писал бы вот эти заметки.

Ещё в бытность свою на Соловках я кое-что слышал о секретной воинской части, существовавшей здесь в годы советской империи. Из-за неё целый район Белого моря был объявлен запретным, и этот давнишний запрет до сих пор старались не нарушать. Мало ли, что базы давно уже нет, — думали, видимо, капитаны судов, стороной обходивших мой остров, — радиация-то, скорее всего, осталась, и ни к чему подвергать экипажи воздействию гамма-лучей.

В самые первые дни, совершая обход зеленеющих низин и обдутых ветрами холмов, я увидел за озером, в ложбине, заросшей берёзами и ивняком, какие-то серые плиты. Но они были настолько безжизненны, что я даже не слишком обрадовался этим, без сомнения рукотворным, руинам: и с расстояния в три километра было видно, что там нет ни души.

Но что удивило меня, когда я приблизился к ним, так это то буйство зелени, что покрывало всю эту свалку из плит, ржавых бочек и серого щебня. Можно было подумать, что здесь не Север, а южные тропики. Многих растений я не мог даже определить: какие-то лианоподобные плети свисали в проёмах черневших дверей и опутывали усы арматуры. Трава под ногами была так густа, что в ней совершенно скрывались бухты колючей проволоки: я зацепился, упал и порвал штанину. Хорошо ещё, кожа осталась цела: лечить рваную рану здесь было бы очень непросто.

Шляпки грибов, красневших в траве там и сям, все были размером с суповую тарелку. “Вот так ботанический сад! — озирался я с недоумением. — И на каких, интересно, дрожжах это выросло?” Мысль о радиации поначалу не приходила мне в голову, и я думал, что причиной всему — защищённость ложбины от ветра. Действительно, микроклимат здесь был много мягче, чем в прочих местах, но одним этим было не объяснить непонятного буйства арктической флоры.

Разумеется, эти руины и заросли были достойны того, чтобы подробно обследовать их, и я начал свои изыскания. Мало того, что я очень рассчитывал обнаружить здесь много полезных предметов; сама возможность коснуться следов человека волновала меня. Казалось, что если люди здесь жили недавно, то почему бы им снова не навестить эти места? Вдруг здесь оставлено что-нибудь ценное, например, документы или приборы, и поэтому вовсе не исключается появление вертолётки или корабля?

Пришла даже мысль: не остаться ли жить на развалинах базы? Но здесь не было главного, что мне было нужно, — морского обзора. К тому же кормиться вдали литорали было бы много сложнее, так что идею о переселении я скоро оставил. Вместо этого я почти ежедневно посещал эти руины, и всякий раз находил что-нибудь нужное. Так я нашёл линзу размером с чайное блюдце — о ней я уже написал — и мог теперь в ясные дни зажигать огонь напрямую от солнца. Нашёл несколько лоскутов толстой полиэтиленовой плёнки, которую тут же использовал для укрепления крыши: теперь в моей хижине было сухо даже в дождливые дни. Листы кровельной жести, пока не придумав, на что их использовать, я сложил неподалёку, и теперь, когда дудла моряна, они грохотали так, что мешали мне спать.

Вообще, чем я больше обследовал базу, тем большее недоумение посещало меня. Сколько сил, сколько средств нужно было затратить, чтобы как-то обжиться на этом клочке мерзлоты посреди Ледовитого океана — и вдруг это всё было брошено и превратилось в руины. По хаосу, что здесь царил, было ясно: покидали все эти казармы, лаборатории, склады и гаражи второпях, как покидают корабль, который должен вот-вот затонуть. Основные матценности вывезти, видимо, всё же успели; зато, мне на радость, оставили множество бытовой рухляди, то есть того, что в моём положении было важнее всего. Здесь валялись кастрюли и мятые ведра, ломы и лопаты, ржавые топоры (правда, без топорница), мотки проволоки и пустые пластиковые бутылки. Чтобы перенести всё найденное к хижине, понадобилось несколько суток и множество ходок.

Но даже и не об этом хотел я сейчас написать, а о тягостном чувстве внезапно сломавшейся жизни, которое не оставляло меня на руинах заброшенной базы. Так, на стенах лаборатории, в разбитые окна которой теперь вместе с ветром свободно влетали и вылетали полярные пуночки, на обшарпанных этих стенах до сих пор пестрели цветные обложки советских журналов. И “Огонёк”, и “Работница” были мне хорошо знакомы, потому что в деревне у бабушки, где я обычно проводил лето, хранились целые подшивки этих журналов, и я, бывало, листал их дни напролёт. А вот теперь те же самые фото, что я видел когда-то, смотрели на меня с ободранных стен. Следы былой жизни — счастливые лица и ясные взгляды, кумачовые лозунги, тучные нивы и панорамы коммунистических строек — я почему-то не мог теперь видеть без слёз...

39

Почему так случилось, что жизнь, только-только набравшая ход, жизнь, которой, казалось, не будет конца и износа, вдруг рассыпалась, словно мираж? В ней ли самой был какой-то изъян, что привёл к преждевременной и внезапной кончине, или это вмешательство неких неведомых, нами играющих, сил? Ведь что я сам, в своей частной и маленькой жизни, что эта вот база, которая строилась здесь на века, а исчезла в какие-то дни, что вся наша страна под названием “СССР”, от которой остались лишь эти вот яркие фото на грязной стене, — мы все испытали воздействие этой таинственной силы.

В восьмидесятые годы прошлого века я был ребёнком, и воспоминаний о жизни советской страны у меня сохранилось немного. Помню майские демонстрации в нашем посёлке, плеск кумача в синем небе да гульки медные выдохи духового оркестра. Но само ощущение праздника помню: мать в этот день всегда пекла пироги и разрешала мне выпить немного вишнёвой наливки. Она была сладкой, густой и такой ароматной, что я до сих пор ощущаю во рту вкус переспелых, в спирту настоявшихся вишен. Так вот и вся та советская жизнь, о которой я знаю немного, представляется мне чем-то вроде вишнёвой наливки, то есть навеки утраченным, сладостным воспоминанием детства.

Гораздо больше осталось в памяти от девяностых годов, то есть от времени краха великой страны. Наш посёлок, в котором когда-то была и военная часть, и фанерный завод, в те годы напоминал руины вот этой заброшенной базы. В заводских цехах гулял ветер, всё, что можно было вывезти или украсть, давно было вывезено и украдено, и даже нам, тогдашним подросткам, и то было больно смотреть на окна без стёкол, на груды щебня и шлака, на ржавеющие скелеты грузовиков и на усы арматуры, торчавшие из раскуроченных плит. Можно было подумать, что наш посёлок бомбили, как бомбили и все остальные посёлки, деревни и сёла огромной страны. Поля зарастали, дома разрушались, ограды валялись в бурьян — со всею страной происходило то же самое, что и с этой вот северной базой.

Отчего я испытывал чувство стыда? Ведь не я же всё это строил, не я потом и разрушал, да и кого я мог здесь, в совершенном безлюдье стыдиться? А вот, поди ж ты: бродя по развалинам базы, я словно искал, перед кем бы я мог повиниться за всё, что случилось. А стыдно мне было, как я понимал, перед всей окружающей жизнью: перед этими вот куропатками, что разлетались сейчас по брусничному склону, перед стадом гусей, тяжело облетающих озеро, стыдно даже перед крикливыми чайками, которых я так не любил и которые мне досаждали, но у которых на совести не было ни предательства, ни малодушия, ни измены самим себе.

40

И всё-таки жизнь была ко мне добра. К концу июля помимо того, что по всей тундре поднялись шляпки грибов, а в низинах созрела морошка, меня ждал подарок посерьёзнее: в тундру вернулась ночь.

Ведь сначала здесь, вблизи Полярного круга, ночей вообще не было, и лишь только в июле бесконечные дни стали перемежаться коротким ночным

промежутком. До этого солнце полого скользило над горизонтом, его багровеющий диск укрывался за остров лишь на какие-то час-полтора, а темноты и вовсе не наступало. И мне всё время казалось: что-то непоправимо испортилось в мире. Словно у солнца сорвалась резьба, и оно, попытавшись уйти за черту горизонта, опять и опять возвращалось на прежний заезженный круг. Тянулся единый и бесконечный, меня совершенно измучивший, день; порой чудилось, что теперь само время не знает, куда ему течь, — оно бродит, как солнце, по кругу, — и день, что начался когда-то, теперь обречён повторяться снова и снова.

“Головокружение времени” — так называл я эту тяжкую пору, когда мир жил без ночи. Да, само время тогда словно бы заболело: оно потеряло своё направление, то есть вектор из прошлого в будущее, и обречённо крутилось в бреду настоящего. Порой даже казалось, что времени больше не существует, что иссяк сам поток, который нас некогда нёс от рассвета до вечера, от одной ночи к другой, тот поток, что выстраивал некую длительность и очерёдность всего, что случается в мире.

Тогда же я понял, что время, в котором мы с вами живём, это не просто стихия, в которую мы погружаемся, но не становимся ею, как, скажем, рыбы, хотя и живут в воде, но никогда не сливаются с ней; нет, наше время — это мы сами. Если вынуть всех рыб, то вода останется той же водою: вода, так сказать, объективна и не зависит от нас и от наших представлений о ней. Но если вынуть из времени всё, что в нём существует, то и само время, возможно, исчезнет. Наше время неотделимо от нас, оно вместе с нами рождается, стареет и умирает, оно субъективно, как взгляд или мысль.

Но об этом — о свойствах и качествах времени — у меня, я надеюсь, ещё будет время поговорить. Речь пока о другом: о возвращении ночи.

Жить без ночи нельзя — я теперь твёрдо в этом уверен. Не знаю, решусь ли я как-нибудь развить эту мысль и утверждать, что нельзя жить без смерти, но вот благотворность, спасительность ночи я испытал на себе. Когда, наконец, солнце стало скрываться на час-полтора, потом ещё дольше, и стало возможно поспать в темноте, возвращение ночи я встретил, как возвращение старого друга. Я был рад, что теперь один день отделён от другого ночным промежутком, и что время нашло, наконец, своё русло и вновь потекло, как ему и положено, из прошлого в будущее.

Вместе с приходом ночи наладился сон. Ведь раньше я засыпал хотя и часто, но спал очень поверхностно: состояния полузабытья, в которые я впадал время от времени из-за сильной усталости, имели немного общего с настоящим, глубоким и освежающим сном. Порою казалось: как солнце не может надолго уйти под черту горизонта, так и я не могу погрузиться в забвение сна, не могу оборвать утомительных связей с реальностью.

41

Как солнце теперь уходило всё глубже за горизонт, так и я в своих снах уходил далеко от острова. Почти каждая ночь становилась путешествием в то изначальное время, когда я был пятилетним или даже трёхлетним ребёнком, и воспринимал всё, что вижу, с недоступной для взрослого свежестью и остротой.

Так, прошлой ночью мне снился дедов сарай. Там старый пасечник хранил свою утварь — рамки для сот, пустые ульи и дымари, — и я мог часами исследовать недра сарая. Порой мне хотелось навеки остаться в прохладном его полумраке. Запах, царивший здесь, — смесь холодного дыма и мёда, вошины и дерева — был для меня лучшим запахом в мире; даже во сне я и то ощущал его сладковатую горечь.

Сквозь щелястую стену пробивались косые лучи августовского солнца; казалось, всё то, что я вижу — тазы и решёта, серпы и корзины из зеленоватой лозы — держится не на гвоздях, вбитых в стены, а на этих вот солнечных иглах, пронзающих сумрак сарая. В косых лучах солнца клубились пылинки; и стремительный радужный проблеск — то синий, то красный,

то вдруг изумрудно-зелёный — промелькивал, если прищурить глаза, в этом медленном коловращении пыли.

Любой из предметов, что я разглядывал или вертел в неуверенных детских руках, казался мне больше себя самого. То есть лопата была здесь не просто лопатой, грабли — граблями, а молоток — молотком, но всё, к чему прикасался мой взгляд или руки, было окутано облаком тайны, являлось не просто предметом, но символом тех бесконечных возможностей и воплощений, что содержал в себе мир.

Вот, забравшись на перевёрнутое корыто, я снимаю с гвоздя старый дедов дымарь. “Что это? — с недоумением думаю я. — Почему эта странная штука словно дышит в моих руках?” Я снова и снова надавливал на его кожистый бок, и меня обдавало медовой прохладой, и дымарь мне казался живым: он словно хотел, задыхаясь, мне что-то сказать, но я пока не понимал его торопливой, одышливой речи...

А вот решето, чей берестяной обод приятно пружинит, поскрипывая в руках, — решето, сквозь мучнистую сетку которого так интересно рассматривать сумрак сарая. Мир, и так-то загадочный, становился туманно-размытым; и я никак не мог выбрать, какой из миров интереснее: тот ли, что виделся сквозь решето, как бы в мягкой вуали, или мир чётких форм и границ?

Продолжая обследовать дедов сарай, я снимал со стены то безмен с хищно загнутым клювом, то коромысло, заклёпки которого были до блеска отполированы дужками вёдер, то медный примус, который сейчас молчалив, но который протяжно и тонко гудит, когда бабушка варит варенье. А вот жестяная коробка из-под селёдки: в ней дед хранит гвозди. Я уже знаю, что самые крупные гвозди дед называет “двухсотки”, и с уважением трогаю один из огромных, рыжих от ржавчины, гнутых гвоздей.

А вот лом-гвоздодёр со смешным именем “фомка”. Он чёрен, тяжёл и словно дразнит меня своим раздвоенным языком. Вот висят деревянные грабли, на зубьях которых ещё шуршат пряди сена. А вот гордость деда, его землемерный аршин, деревянные тонкие ноги которого перемерили столько земли, передвинули столько межей и слышали столько яростных споров...

Вспоминать и описывать то, что хранилось в сарае у деда, я могу очень долго: это был бесконечный и сложный, обильный предметами мир. Но тот солнечный мир, что шумел ветерком там, снаружи, за дверью сарая, тоже манил меня. Навалившись на нежно скрипящую дверь, я раздвигал ярко-жёлтую полосу солнца на земляном гладком полу и шагал в полуденный блеск.

Пробежав вдоль плетня на верхи огородов, я видел, как дед в светлой блузе и шляпе, с которой свисает волна кисеи, стоит с дымарём возле гудящего улья. Издалека не понять: то ли дым, то ли пчёлы клубятся над шляпою деда? Гул пчелиного роя, которому дедов пыхтящий дымарь не давал успокоиться, — этот мерный и слаженный гул словно скручивал всё, что я видел и слышал, в единый, торжественный сгусток. И солнце, и синь наверху, и струящийся лиственный блеск осока, и хриплый, протяжно-заливистый крик петуха, и пчелиный клубящийся гул — всё это было едино, и всё это было как будто мною самим...

Иногда какая-нибудь пчела запутывалась в дедовой бороде, и тогда в мерный, слаженный гул врывалась бужжащая нота, которая резала слух. Но дед спокойно выпутывал из седой бороды непутёвую пчёлку, и вновь воцарялось густое и ровное, словно органная fuga, гуденье.

Дед уже снял с улья крышку и, поставив на землю дымарь, начинал доставать рамки с сотами. Хорошо было видно, как с рамок свисают медовые нити, тягучие и золотые на солнце. Мне хотелось подойти к деду поближе, но я опасался встревоженных пчёл; как зачарованный, я стоял в тени осока, что рос на меже, в странной смеси жары и прохлады, в блаженном оцепенении всех своих мыслей и чувств.

— Ну, что, котурка, не страшно? — кричал дед, наконец-то заметив меня.

— Не-а... — отвечал я неуверенно, сам толком не зная, страшно ли мне или нет.

— Вот и хорошо, вот и славно, — бурчал дед, продолжая высматривать что-то в глубине задымлённого улья. — У нас пчёлы добрые, зря не укусят...

Конечно, немного всё же было боязно; но страх даже как будто сильнее натягивал в детской душе струны радости и восхищения миром: не будь теперь чуть страшновато, не было бы и так хорошо. И опять, как недавно в сарае, хотелось *продлить очарование*: пусть так будет всегда. Пусть дед всегда вынимает медовые рамки, пусть пчёлы гудят и клубятся, пусть солнце искрится в листве осокоря, и пусть я всегда буду тем, кем я был в тот сияющий день...

42

Но чем живее и ярче был сон, тем неожиданней я просыпался. Глаза ещё были полны сонных грёз — пчёлы гудели, а дедов дымарь пыхал сиреневым дымом, — но надо мной уж мерцало и плыло бездонное звёздное небо. Последнее время я часто ложился спать на открытой площадке, и в миг пробужденья мерещилось, что я падаю вверх. Душа обмирала, а бездна, пылавшая звёздами, властно манила меня. Я был не просто ничтожен во всём этом мире, в торжественно-грозном мерцании звёзд, но меня словно не было вовсе. Небо дышало и жило само по себе, казалось, что звёзды по небосводу пересыпает незримая чья-то рука, и звёздное небо, мерцая, само было погружено в некий обморок, длящийся сон бытия. В такие минуты мне становилось так одиноко, так страшно...

Иногда наверху, среди звёзд, я видел мигающую красную точку летящего на большой высоте самолёта. Он был для меня почти так же далёк и недостижим, как звёзды, но он всё же меня оживлял — этот мерно мигавший, рубиново-красный, плывущий на запад огонь. Взгляд не мог от него оторваться. Сердце мучилось болью, тоской, поначалу я даже вскакивал и начинал кричать в ночь, сам удивляясь безумию собственных криков. Самолёт уплывал, а моё сердце всё никак не могло успокоиться. Шутка ли: ведь я только что видел, по сути, людей — пусть и на недостижимо большой высоте, но я видел тех, от кого судьба так жестоко меня оторвала.

Самолёт пролетал всегда в одно время, перед рассветом. И мне становилось уж зябко лежать на остывшем кострище, тем более что, проведив самолёт, я ещё острее чувствовал свою брошенность и одинокость.

Но живым себя в гроб не положишь, как говорила покойница-бабушка. Ночь с её грёзами проходила, близился день с его беспощадной реальностью, с неотступной заботой о поддержании жизни. Даже встать с едва тёплого ложа — и то было непросто. Ночью, во сне, я как будто расстался с самим собою — душа вольно блуждала пространствами сна, — и теперь приходилось вновь надевать на себя своё тело, как надевают оставленную одежду. Оно было как-то не впору, казалось чужим и неловким. Я ощущал словно некий зазор меж собою и собственной плотью. Руки и ноги двигались трудно и нехотя, с хрустом в затёкших суставах; с каждым вдохом я словно бы приподнимал тяжкий груз самого себя, снова взваливал ношу одинокого существования.

Кряхтя, я вставал на колени, потом поднимался на ноги и начинал оживлять костерок: без огня я бы просто не выдержал злой тоски предрассветного часа. Порывшись в тёплой золе кострища, всегда можно было найти несколько живых угольков. Я сдвигал их поближе друг к другу, клал сверху сухую растопку, и начинал раздувать задремавший огонь. Угли тлели всё ярче, волна нараставшего жара уже ощутимо касалась лица, и вот, наконец, на коричневом завитке бересты начинал трепетать лоскуток дымно-алого пламени. Он торопливо цеплялся за ивовые прутья и вдруг, словно выскочив из-под земли, предо мной начинало плескаться горячее пламя!

Что ж: ещё одна ночь была позади. С одной стороны, я был рад встретить день — в заботах и хлопотах жить было всё-таки легче, но с другой — было жаль ночных грёз, в которых мне удавалось забыть о своём одиночестве. Обогревшись немного у резво трещавшего пламени, я отправлялся к ручью за водой. Тропа меж камней уже была хорошо различима. Звёзды бледнели и гасли, восток всё заметней алел; и вот уж от сочной, мерцающей

россыпи звёзд, покрывавших недавно всё небо, осталась лишь мелко-колючая звёздная пыль, которую скоро должны были смыть прибывавшие воды рассвета.

43

Однажды утром, взглянув на часы, я увидел, что календарь показывает двадцать второе июля, день моего рождения: мне исполнилось тридцать два года.

Вот уж не думал, что придётся когда-нибудь отмечать этот день на необитаемом острове. И я стал прикидывать: что бы сегодня устроить? Друзей-подружек не соберёшь, в любимом пивбаре не посидишь, и вообще, не отметишь день рождения так, как привык. Но и прожить этот день просто так, в обыденных хлопотах, я не хотел. “Ещё неизвестно, доживу ли до следующего такого же дня, — говорил я себе, — так что неплохо бы это дело отпраздновать. А вот что — не устроить ли баню?”

Идея мне понравилась. Недавний шторм выбросил на побережье так много плавника, что топлива мне хватало с избытком; а на развалинах базы я нашёл здоровенный чехол из брезента — из него я мог сделать подходящую кровлю для бани. И камней, и воды было тоже достаточно, даже странно, что мысль о парилке не пришла мне в голову раньше.

Теперь надо было решить, как лучше сделать: перенести нагретые камни в тот чум, что я сплету из ивовых прутьев, накрытых брезентом, или перенести сам этот чум на кострище с камнями? Второй вариант показался мне проще.

Давно я не работал с таким удовольствием. Первым делом отобрал два десятка камней, каждый размером с голову нерпы, между тем как сами нерпы с любопытством выглядывали из моря, наблюдая за мной, и сложил из них горку. Затем, обложив камни дровами, запалил хороший костёр.

Пока грелись камни, — а на это должно было уйти часа три, — я занялся баннным каркасом. За хлыстами берёзы и ивы пришлось сходить к озеру: там, в низине, деревья уже не стелились по рыжим камням, а были ростом с меня. Заодно, очищая ножом берёзовые хлысты, я набрал веток для веника: он получился коротким, но пышным.

Чем связывать прутья, сплетая каркас, я особенно долго не думал: ивовые тонкие ветки, а ещё лучше — корни отлично годились для этого. Недаром поморы шивали корнями-вицами даже борта своих кочей, и эти борта держали не только удары волн, но даже удары об лёд. Заострив самые длинные прутья, я воткнул их по кругу; затем, пригибая, связал их попарно, и уже был намечен каркас будущей бани. По окружности у основания я заплёл кольцо из лозы — так, что прутья теперь, даже если их вынуть из грунта, не распрямлялись, а сохраняли форму округлой корзины.

Пока я работал, а костёр жарко и весело полыхал на морском берегу, я думал о собственной жизни, о том, что в ней было за те тридцать два года, что я жил на свете. Посмотришь с одной стороны: тридцать два — это суший пустяк, только самый разгон перед жизнью, которая ещё только будет когда-то и где-то (и я, как ни странно, но даже сейчас всё равно верю в это “когда-то” и “где-то”). А с другой стороны, тридцать два года — что-то настолько огромное и богатое по содержанию, что нужно, кажется, ещё тридцать два года, чтобы подробно припомнить былое. И вот именно остров — спасибо ему! — позволил мне это почувствовать, он показал мне способности человеческой памяти. Уже одно детство, которое я вспоминаю так часто и так благодарно, кажется совершенно бездонным кладезем воспоминаний. Когда я — над листом ли бумаги, или просто так, сидя у моря и глядя в его фиолетово-сизую даль, — вспоминаю какую-нибудь картину из детства, то кажется: стоит сделать ещё одно внутреннее усилие — я действительно окажусь в мире детства, и жизнь моя снова продолжится с той самой точки, в которую мне только что удалось возвратиться. И потому лишь я не сделал последнее это усилие, что до сих пор не мог выбрать: в какую же именно точку, в какую минуту из детства хочу я вернуться? Туда ли, где

тихо течёт ивняковая речка, где взмыкнул телёнок, пасущийся на лугу, и где серые гуси скользят по зелёной, подёрнутой пухом воде? Или туда, где по рыжим межам лежат ярко-жёлтые тыквы и сытно пахнет картофельной ботвой, туда, где звон вёдер — в деревне копают картошку — мешается с женскими голосами и с синим дымком костерка, что стелется над огородами?

Или может, мне хочется вновь оказаться в уютном свином закуте, где так кисло и вкусно пахнет толчёной картошкой, крапивой и корками хлеба — признаться, я нередко запускал в чугунок с этим месивом руку и объедал поросят, — где в щель загородки я вижу то умный внимательный глаз, то подвижный и мокрый пятак поросёнка и где слышен топот копыт по настилу сарая?

И так было со всем: зацепившись за какую-нибудь достоверно-живую подробность, память тут же воскрешала картину из прошлого. В этой способности памяти было даже что-то пугающее: а ну, как она сотрёт всё, что есть в настоящем, — и эти скалы, и море, и нерп, и даже меня самого? Иногда я буквально боролся с собственной памятью, прорываясь из прошлого снова в реальность: так неотступно и вязко паутина воспоминаний опутывала меня.

44

Каркас для парной был готов. Он получился невысоким: внутри можно было сидеть только на корточках. Зато брезента как раз хватило, чтобы накрыть каркас полностью, без прорех и просветов. Щель для входа я нарочно оставил там, где края брезентового чехла нахлёстывались друг на друга, так что, в конце концов, у меня получилась палатка, в которой можно было не только париться, но и жить.

Теперь пора было разбираться с костром и камнями. Последний раз я подобрал дрова примерно час назад; они прогорели, и лишь несколько головёшек ещё тлели меж серых камней. Чтоб не остаться совсем без огня, я перебросил недогоревшие головёшки на новое место, и развёл костёр там: живой огонь был мне нужен, чтобы нагреть на нём воду.

От горки горячих камней и от углей, красневших меж ними, шёл такой жар, что слезились глаза. Я старательно, венником обметал раскалённые камни; листья на глазах побурела, пожухла, и я порадовался тому, что предупредительно сделал ещё один веник. Чтоб не обжечь себе пятки о случайно оставшийся на земле уголёк, я набросал рядом с каменкой берёзовых веток: получился пахучий настил.

Покрытый брезентом каркас оказался довольно тяжёл: пришлось поднатужиться, чтобы накрыть им горячую каменку. Зато, когда я запахнул щель на входе и навалил камней по окружности банного “чума”, брезент вздулся, словно воздушный шар. Как раз закипела вода; шурясь от жара, я поставил кастрюлю поближе к камням и стал раздеваться.

Внутри, под брезентовым стогом, было темно, очень тесно и жарко. “Как в аду”, — промелькнула короткая мысль. Но прошло пять, потом десять секунд, и я понял, что жить можно даже в аду. Пот по мне тёк ручьями и капал на сухо шуршащие листья. Толстый брезент пропускал мало света, но всё же, приглядевшись, я мог рассмотреть пирамиду камней — над ней воздух дрожал и казался густым, словно масло, — мог рассмотреть перекрестья каркаса с узлами корней, кастрюлю с горячей водой и корявенький ковшик из жести.

Притерпевшись к жару, я решил плеснуть воды на камни. Но лучше б я не торопился. Вода почти не коснулась камней: с глухим хлопком она отскочила уже в виде пара обратно — и огненный сумрак, мгновенно сгустившись, толкнул меня в грудь и в лицо. Не выдержав жара, я вылез из-под брезента и побежал окунуться в ручей. Ледяная вода мигом смыла угар и усталость. “Родившийся заново”, — говорят про таких, каким был я в эту минуту. Розовый, мокро блестящий, я шёл назад к бане, чувствуя, как нестерпимо зудит моё тело и как хочется по сильнее отхлестать себя венником.

То ли я по привычке, то ли каменка чуть подостыла, но в парилке уже можно было пошевелиться. Осторожно, касаясь кожи одними листьями, я по-

двигал туда-сюда веником и почувствовал, как весь покрылся мурашками. Запах берёзовых листьев окутал меня. Понемногу я входил в раж: вот я уже иступлённо хлестал себя по бокам и спине, выл и стонал, а банный каркас ходил ходуном. Вспокошённые чайки кричали снаружи: они никогда не слышали такого рычания и воя. Моё иступление дошло до того, что я чуть не упал на горячие камни, — хорошо, что ухватился за перекладину чума, и она, хоть и треснула, но удержала меня.

Снова сбежал к ручью, упал в него и, освежённый, вернулся в парилку. Теперь, когда был утолён первый зуд, я смаковал каждый миг. Не спеша зачерпывал ковшик воды, выбирал на камнях ещё не залитое место и бросал туда кипяток. Раздавался короткий хлопок, сумрак вздрагивал, и волна пара, накатив от камней, обжигала сначала лицо, а потом, отразившись от влажной брезентовой стенки, толкала меня в спину. Это было приятно: пар был уж не огненным, а ласкающе-мягким.

Я парился, что называется, до упора. Каменка, разумеется, остывала: камни сначала протяжно шипели, когда на них попадала вода, а потом и совсем замолчали. Но я до последнего медлил расстаться с парилкой и не хотел одеваться, поскольку чувствовал: вряд ли когда ещё мне будет так хорошо.

Наконец, я оделся, истратив на это последние силы, и долго сидел возле бани, подложив под себя сухой веник. Я просто дышал — вдох, потом медленный выдох, потом снова вдох — и смотрел на всё то, что было вокруг, просветлённо-пустым и бессмысленным взглядом. Лицо моё в эти минуты напоминало, скорее всего, лицо идиота. Я просто сидел и дышал, и смотрел в никуда, и мог бы, казалось, сидеть так бесконечно. Голова и душа мои были пусты, и время текло сквозь меня, не встречая сопротивления: во мне не было ни единой мысли, желания или воспоминания, о которое оно, время, могло бы запнуться и пустить тогда некую рябь, говорящую о его, времени, ходе и о моём пребывании в его потоке. Казалось, что больше нет разницы между мною самим и тем, что меня окружает, но есть лишь глубокое, как тишина или сон, равновесие мира...

45

Не помню, что меня вывело из блаженного оцепенения: может, плеск моря о камни или резкий крик чайки, скользнувшей над самой моей головой? Но в душе оставалось ещё очень много покоя.

Это странно, но я почти не участвовал в том, что делал. Словно сам собой зажигался костёр, и кастрюля с водой над огнём повисала тоже сама, и даже мои непривычно белые руки тоже сами собой что-то чистили и нарезали. Я же сам — тот, кому нынче исполнилось тридцать два года, но в чьём реальном присутствии я всё сильнее сомневался, — я был как-то рассеян повсюду. Часть меня была в этом ветре, в накатах приборной волны, которая мягко ложилась на камни, а когда отступала, шумя, то над каждым из них закипал небольшой пенный бурун. Часть меня была с чайками, чьи немолчные крики были словно бы частью окружавшей меня тишины; я был частью этой жёсткой травы, что дрожала на косогоре под ветром, а на склоне его там-сям краснели пятнистые мухоморы...

В общем, мне было так хорошо, как давно не бывало. Я был растворён в окружающем мире, и в то же время весь мир целиком помещался во мне, в моём тающем взгляде и в разомлевшей, податливой и оттого безгранично широкой душе.

Но бесы не дремлют. К тому же, на острове я был единственной — а потому и желанной — добычей для них. Ну, кто, кроме этих врагов человека мог подсунуть мне эту безумную мысль: сварить мухоморы?

Было так. Я сидел у костра и помешивал суп из ламинарии, мидий и криля. Есть, правда, почти не хотелось — покой, что царил в душе после парилки, изгнал даже голод, — и я готовил еду просто так, по привычке. Костерок горел, солнце грело, гладкое море то чуть поднималось, то опускало меж чёрных камней, и в мире, и в моей разомлевшей душе царила одна благодать.

Но вдруг я подумал: “Как же так? У меня день рождения, а я сижу трезвый?” И тут же я будто услышал подсказанный кем-то совет: “А ты возьми да сварь мухоморы!”

“Мухоморы? — удивился я собственным мыслям. — Но они ж ядовиты...” “Да ладно, не преувеличивай! — продолжал кто-то бодро меня уговаривать. — Ты что, не читал про шаманов? Отвар мухоморов — отличное средство: оттянешься, парень, по полной программе!”

Я был таким разомлевшим, податливым, мягким, что мне было лень спорить с собственным внутренним голосом. И я пошёл на поводу у себя самого. Сняв суп с огня, чтоб он настоялся, я побрёл собирать мухоморы. Никакого труда это не составляло: их шляпки краснели повсюду. Я выбрал поддожины самых красивых и крепких; пунцовые шляпки, покрытые белыми струпьями, пахли остро и пряно. Правда, сомнения время от времени возвращались ко мне. “Может, не стоит?” — раздумывал я, шагая по тундре с грибами в руках. “Да ты что?! — возмущался кто-то внутри меня. — Не так уж и много у тебя здесь, на острове, развлечений. И потом, ну, чего ты боишься? Выпьешь пару глоточков, посмотришь, как действует...”

И так вот, беседа сам с собой, я наполнил грибами консервную банку, подлил воды и повесил её над огнём. Скоро вода забурлила, и розоватая пена, поднявшись, стала падать в кипящий костёр. Мне показалось: сегодня огонь горит как-то иначе, сложнее и тревожнее, чем всегда. Густое и дымное пламя то взбиралось по сучьям, то прыдало вбок, то стреляло чадящими искрами, и в этой поспешной, усердной работе огня содержалось словно какое-то послание для меня, разгадать смысл которого я пока что не мог.

Откуда мне было знать, сколько времени надо варить мухоморы? “Полчаса, думаю, хватит”, — рассудил я и, сочтя смутное беспокойство, которое тлело во мне, проявлением голода, решил похлевать пока супчика.

Супец оказался отменным: наваристым, в меру душистым, густым. Ламинария всегда отдаёт лёгким привкусом йода; но мне этот привкус напоминал лабораторию и институт, напоминал прежнюю жизнь и поэтому был, скорее, приятен. Причмокивая от удовольствия, я дочёрпывал суп перламутровой ложкой, которую смастерил из створки мидийной раковины. Знать бы, что скоро всё то, что я съел, окажется выброшенным на камни, я бы, конечно, оставил суп на потом. Но мы, к сожалению — или, может быть, к счастью? — не знаем даже того, что нас ждёт через пару минут.

Мухоморное варево тихо бурлило, и размякшие шляпки грибов розовели среди поднимавшейся и опадающей пены. Вокруг как-то странно темнело. Подняв голову, я увидел, что с моря натягивает грозу. Фиолетово-чёрная туча своим отвисающим брюхом касалась черты горизонта, а перед тучей быстро скользили рваные серые клочья, как будто бы пух и перья того, кто попал под тяжёлую руку грозы. Ветер то налетал, поднимая пыль и сор, и уносил его в тундру, то вдруг стихал, и тогда даже чайки смолкали: наступала звенящая тишина.

Пора было снимать банку с огня. Я поставил её на ровное место и стал ждать, пока зелье остынет. Аспидно-чёрная туча уже занимала полнеба, а фиолетово-чёрное море внизу казалось её отраженьем. Грома не было слышно, но яркие проблески молний уже начинали проскакивать между морем и небом. Мой костёр словно чувствовал эти далёкие сполохи: при каждой нервической вспышке вдали пламя костра содрогалось, и из него вылетали дымящие искры.

“Не пора ли?” — подумал я и осторожно поднёс банку к губам. Когда я её наклонил, один из грибов выскользнул, шлёпнул меня по губам, и я ощутил словно влажный, горячий, бесстыдно-живой поцелуй. Отвар оказался довольно приятным на вкус: он был сладковат и немного горчил. Я сделал пару глотков и стал ждать, как подействует зелье.

Долго — или мне так показалось? — ничего особенного не происходило. Костёр пылал так же ярко и дымно, а далёкие молнии озаряли морской горизонт. Но вот я заметил, что цвет пламени стал как-то странно меняться: он был уж не алый, как раньше, а рыжий, как женские волосы, которые треплет порывами ветра.

Костёр горел всё беспокойнее: в нём словно что-то рождалось. Мне мерещилась в пламени то мелькнувшая рыжая прядь, то изгиб женской шеи: казалось, огонь хлопотливо трудился, пытаясь создать чей-то образ, и сам же мгновенно стирал то немногое, что успел набросать.

Я отпил ещё несколько сладко-горьких глотков и даже случайно сглотнул склизкую шляпку гриба. Гроза подходила всё ближе, вокруг быстро темнело, но я, увлечённый игрою огня, почти перестал замечать окружающее. Глазам открывались всё более странные вещи. Атласные, дымные кисти огня рисовали бесчисленный ряд женских лиц и дрожащих грудей. Казалось, костёр так же грезит о женщине, как и я, зачарованный пляской огня.

Было весело и жутковато. Сердце так билось, словно я не сидел у костра, а куда-то бежал. Языки пламени уже не трепетали, как прежде, но уверенно сильно огонь рисовал тот единственный образ, что нужен был в эту минуту: скользящий и зыбкий, но всё же узнаваемый лик Долорес...

46

...Сколько же времени прошло с того вечера, когда я попросил у неё огонька? Года, наверное, три; но сейчас все подробности встречи отчётливо вспомнились мне. Да, я познакомился с Долорес майским вечером у ресторана “Заря”. Я присел на лавочку в сквере, чтобы перекурить. Курил я вообще-то редко, только в компании, поэтому собственной зажигалки у меня не оказалось.

Но, как по заказу, на лавочке рядом сидела курильщица: в первый миг я заметил только её рыжие волосы да худощавые щиколотки.

— Девушка, — обратился я к ней. — Огоньку не найдётся?

Незнакомка обернулась ко мне, посмотрела с живым интересом и подавала зажигалку. Я, видно, что-то не то и не так в ней нажал, потому что передо мной полыхнул целый газовый факел!

— Ч-чёрт! — я отдёрнул голову. — Так и поджариться можно...

В глазах незнакомки мелькнуло два отблеска пламени, и она засмеялась:

— Осторожнее, фокусник! Давай, помогу...

Она взяла у меня зажигалку, и я прикурил из её рук, сухих и горячих. Какое-то время мы пускали дым молча. Из городского парка слышалась музыка, а небо над тёмными липами густо алено. Давно я не видел такого огненного заката.

Я курил и поглядывал на курившую рядом женщину. Красавицей её трудно было назвать; но её худощавые голые ноги, короткое красное платье, её сигарета в нервных руках и карий насмешливый взгляд — всё это меня волновало. Отчего-то я принял её за проститутку и нагло спросил:

— Слушай, а сколько ты стоишь?

Незнакомка вскинула брови, в глазах блеснул гнев, но тут же она рассмеялась:

— Ты что же, решил, что я шлоха? Ну, спасибо, порадовал...

Её грудной, низкий смех взволновал меня ещё больше. Вдруг сухая, горячая кисть легла мне на руку.

— Пойдём, ты мне тоже понравился, — сказала она и решительно встала.

Всё, что случилось потом, в её гостиничном номере, было больше похоже на драку, чем на любовную сцену. Одежда трещала, пуговицы отлетали, как пули, а наше дыхание становилось всё более хриплым. То, что в любовных романах принято называть “огнём страсти”, охватило нас с грубой силой...

...Уже после, когда мы с ней, ещё трудно дыша, лежали друг подле друга на красном ковре, и я отирал со лба пот тыльной стороной дрожащей ладони, я спросил:

— Как тебя звать?

— Долорес. А тебя?

— Олег.

— Вот и познакомились, — засмеялась она, и я близко-близко увидел её совершенно шальные глаза.

— Но почему — Долорес? — ничего, кроме глупых вопросов, не приходило мне в голову. — Ты что, испанка?

— Да, испанка, наполовину, — она резко встала. — Ну, ладно, я в душ. Не скучай!

И её гибкое тело, всё в веснушках по белой спине, проскользнуло за дверь. “Вот это женщина! — думал я с восхищением и почти со страхом. — Огонь!”

Мелькнула, не скрою, мыслишка: а не унести ли мне ноги, пока Долорес плещется в душе? Было предчувствие, что я прикоснулся к стихии, способной меня испепелить; но страх был ничто по сравнению с тем желанием, что она распалая во мне.

Вот она появилась опять, и её обнажённое мокрое тело словно бы исказило пространство и мой затуманенный взгляд. Я не видел уже ничего, кроме влажного рта и смеющихся глаз, кроме острых грудей Долорес...

(Следующие восемь страниц дневника наполнены столь откровенно порнографическими описаниями встреч автора с некоей Долорес, что мы не решились публиковать эту часть рукописи. — Примечание издателя).

47

Впрочем, зачем я всё это пишу? Кому я пытаюсь сейчас рассказать, какой была эта рыжая bestия и что мы с ней вытворяли? Читателей у меня нет и не будет; а мне самому вовсе незачем перечитывать эти страницы, чтоб вспомнить те три сумасшедшие недели, которые я провёл с Долорес. Мне достаточно посмотреть в пламя костра, чтобы тут же вспомнилось всё: и её хриловато-прокуренный голос, и бешеный взгляд карих глаз, и гибкое, нервное тело, и то, как она по-кошачьи орала, царапалась, выла, когда нас с ней корёжили общие судороги...

Тогда, у костра, мои мысли всё больше путались и заплетались; путалось и восприятие мира. Всё рассыпалось на части, бессвязные пятна и линии. Чётко виден был только костёр и та женщина, что танцевала в огне. Как саламандра, она непрерывно рождалась из пламени; когда же порыв налетавшего ветра бросал огонь вбок, казалось, что Долорес, окружённая роем клубящихся искр, вот-вот оторвётся от пламени и продолжит свой танец на голом морском берегу.

Дальнейшее помню урывками, да и то не уверен, что это действительно было, а не привиделось мне. Явь и грёзы были так перемешаны, что скорее я б усомнился в реальности камня, на котором сидел, чем в реальном присутствии женщины, пляшущей меж языками огня. Да и сам я — на самом ли деле я был или только приснился кому-то? Что такое мой взгляд, мои мысли, что такое, в конце концов, эти заметки, как не иллюзия существования, которому, тем не менее, тоже хочется стать достоверно-реальным?

Возможно, виною всему был не только отвар мухоморов, который я пил, но и страшная эта гроза, вдруг накрывшая остров. Лишь только аспидно-чёрная туча своим отвисающим брюхом напоролась на береговые утёсы, как из её утробы посыпались молнии. Белые, синие, красные, они с треском, похожим на треск разрываемой ткани, разбегались по скалам, шипели в воде, ударяя в свои отражения, жгли ковёр тундры... Но мне совсем не было страшно. Хаос, в который гроза превращала весь мир, представлялся мне чем-то вроде игры, к которой я сам имел отношения не больше, чем зритель в партуре театра к тому, что творится на сцене. Гребни утёсов порой озарялись синееющим блеском: как будто на острые скалы надеты мерцающие короны. Я вспомнил, что их называют огнями святого Эльма, и, как ребёнок, радовался этой иллюминации, озаряющей всё побережье неверным, кладбищенским светом.

Дождя я не замечал, как не замечал его, кстати, и ярко пылавший костёр. То ли его защищал нависающий выступ скалы, то ли плавник был настолько пропитан мазутом, но буря лишь распалая огонь. Порывы ветра трепали и дёргали пламя, пластали его по земле. Костёр продолжал рисовать

языками огня образ женщины: я видел мелькавшие бёдра и груди, колени и локти, и огненно-рыжие космы волос...

Когда три подряд молнии вонзились в шипящую землю совсем уже близко к костру, и порыв ветра бросил пламя на камни, мне показалось, что Долорес выпрыгнула из огня и скользнула во тьму. Я вскочил, не сводя с неё глаз, и погнался за бледно мерцающим призраком. Он то исчезал, то опять возникал, уводя меня в ночь. Тьма вокруг содрогалась; камни дымились и трескались от ослепительных молний, хлеставших по ним. Я не чувствовал ног и не чувствовал камней, о которые спотыкался. Призрак женщины, столь же мерцающе-зыбкий, как и горящие по утёсам электрические короны, вёл меня дальше и дальше. Порой я почти настигал Долорес и протягивал руку, чтоб ухватить её рыжие космы, но рука пролетала насквозь, и вот уж её обнажённое тело плясало на дальней скале. Мне хотелось увидеть её лицо, посмотреть ускользавшей колдунье в глаза, но стихия, увы, не имеет лица...

Обезумев, я гнался за призраком; желание было настолько сильнее меня, что тянуло меня за собой на слепом поводе. Долорес то плясала вдали, то совсем исчезала, и я лихорадочно шарил глазами, ища путеводный мираж. Вдруг я кубарем покатился куда-то, ударяясь спиной, головой и локтями о камни. Потом был удар, от которого стихла гроза и погасли слепящие сполохи молний. И вот в этот-то миг, в тишине и во тьме Долорес наконец-то склонилась ко мне. Я ощущал её кожей, губами, руками, всем телом; никогда прежде я не слышал такого отчаянно-резкого, долгого женского крика, который, когда уже стало светать, превратился в назойливый, режущий вопль беспокойно кружащих над берегом чаек...

48

После этой истории с мухоморами что-то во мне переменилось. Я стал жить как-то задумчивей, тише, словно всё время прислушиваясь к себе самому.

Внешних событий было по-прежнему мало. Я всё так же собирал плавник, мидий и водоросли, так же ходил удить окуней или возился у хижины и, конечно, следил за пустынным по-прежнему морем. Зато внутри меня происходили важные перемены. Вообще, я всё больше жил внутри себя самого, и всё менее сил и внимания тратил на то, что пока оставалось снаружи.

Вот это “пока оставалось” — не просто слова, которые я написал машинально, для гладкости фразы; нет, я теперь знал: всё то, что пока составляет моё окружение, — все эти скалы и чайки, и море, и лужи, блестящие по литорали, — когда-нибудь тоже войдёт внутрь меня, станет воспоминанием (может быть, ляжет на эти страницы), и тогда обретёт для меня совершенно иное значение. Да и сами явления или предметы, переходя из внешнего мира во внутреннее пространство памяти, всегда изменялись. Что-то в них неизбежно терялось, но что-то, напротив, проступало рельефнее, ярче; реальный предмет и его воскрешённая в памяти копия всегда представляли собой нечто различное, но, тем не менее, сохранявшее напряжённо-живую взаимосвязь.

Затрудняюсь сказать, есть ли это особенность только моей или свойство человеческой памяти вообще. Поразительно: то, что попало когда-то в её тайники, лабиринты и недра не просто осело там мёртвым, недвижимым, пылящимся грузом, но продолжало свою сокровенную жизнь. Я теперь понимал: наша память сотворяет из прошлого нечто иное, чем это прошлое было в реальности; а вот эти страницы, на которых я, в меру сил, пытаюсь отобразить этот сложный процесс — попытка отображения прошлого как бы ещё в одном зеркале, которое тоже, конечно, привносит свои искажения. И реальность в такой череде отражений может быть искажена до неузнаваемости. Но с другой стороны, воскрешение прошлого в памяти, а потом закрепление в тексте придаёт всем предметам или событиям прошлого совершенно особую, превосходящую их полноту.

Иными словами, и память, и эти страницы, которые я покрываю словами и строками, — это всё, вместе взятое, есть сотворение прошлого, есть

живой, увлекательно-сложный процесс моего вмешательства в то, что давно миновало, но что я, тем не менее, могу прожить как бы заново.

Так что же такое есть прошлое, как не результат наших воспоминаний о нём? Не будь нас, не будь нашей памяти, может быть, прошлого вообще бы не существовало? Может быть, и само время в его столь привычном для нас триединстве — прошлого, настоящего и будущего — есть всего лишь удобная форма для размещения наших отображений реальности, что-то вроде страниц дневника, на которой мелькнувшая мысль или образ ложатся в виде развёрнутой, длящейся фразы, а на самом-то деле нет никакого будущего или прошедшего, а есть лишь одно вечно длящееся настоящее?

От мыслей подобного рода то делалось страшно: а не теряю ли я, в самом деле, рассудок? — то, напротив, казалось: вот именно то, о чём я здесь размышляю, и есть самое главное и неотложное дело. Не окажись я на этом вот острове, и не нуждайся так в воспоминаниях, как в единственном избавлении от одиночества, способности памяти вряд ли бы настолько развились во мне. Но как слепой слышит много лучше, чем зрячий, так и мои способности к воспоминаниям в силу особенных, выпавших мне обстоятельств сделались много сильнее. С кем я мог поговорить здесь, на необитаемом острове? Только с собственной памятью. Кого из людей я мог здесь повидать? Только тех, о ком вспоминал. И я всё чаще и чаще стал уходить не на промысел в тундру, не к озеру или к развалинам базы, а бродил по тем тропам, что сложно ветвились внутри меня самого.

49

Поскольку здесь, на острове, остро ощущалась нехватка многих нужных предметов, я часто вспоминал как раз то, чего мне не доставало. Пусть это был даже суший пустяк — булавка или иголка, брючный ремень или чайная чашка, но память, натренировавшись за долгие дни и недели, воссоздавала недостающее с такой достоверностью, что порою казалось: то, о чём я вспоминаю, уже почти есть у меня.

Вот, скажем, чайная чашка. Конечно, это не нож, не топор и не зажигалка — не предмет первой необходимости, но мне очень не доставало её. Травяной чай приходилось цедить из консервной банки. Горячая желье обжигала губы и руки, а во рту оставался железистый вкус. Не раз вспоминал я любимую чашку: она была лёгкой, почти невесомой, и по её синеве, словно иней, белел тонкий узор. Цвет чашки менялся от тёмно-синего до нежно-небесного, если поднять её на просвет против лампы или окна. А тонкость фарфора была такова, что рука ощущала даже касанье чаинки о стенки — чаинки, кружащиеся в дымном, оранжево-ярком настое...

Иногда между диском янтарного чая и стенками чашки начиналась забавная световая игра. Тень чайной ряби скользя на влажном исподе фарфора, а золотая кайма, что лежала по бортику чашки, отражалась, дрожа, на поверхности чая. Даже когда чай был выпит, тёплая чашка хранила его аромат. И, случалось, ты долго держал её возле лица, вдыхая уже и не столько слабеющий запах чая, сколько память об этом живом аромате.

Но главное даже не в том, что я здесь, среди мшистых камней и лишайников тундры, вспоминал эту чашку так подробно, как мало о чём вспоминал. Главное в том, что тогда, когда я держал эту чашку в руках, я не испытывал даже малой доли того, что чувствую и вспоминаю теперь. То есть в реальности я так и не встретился со своей любимой чашкой, а рассеянно и торопливо прошёл как бы мимо неё. Зато теперь, воскрешая её в своей памяти, я вижу всё много подробней, внимательней, глубже; я, можно сказать, и обрёл-то её лишь тогда, когда потерял.

И не с одной только чашкой происходило такое. О многих предметах — и, главное, о людях — я мог бы сказать: никогда бы я их не узнал по-настоящему, если бы не потерял. Поразительно: то, что я здесь оказался лишённым так многого, обернулось, каким-то загадочным образом вовсе не потерей, а таинственно-необъяснимой встречей.

“Лучше поздно, чем никогда”, — утешал я себя самого, когда думал о матери. Только теперь, когда она уже умерла, а я оказался на этом вот острове, я представлял себе мать так отчётливо, ясно, как никогда прежде. Раньше, признаться, не так уж часто я о ней вспоминал; но даже когда мне случалось подумать о матери, то вместо её живых глаз и лица я видел лишь некий расплывчатый образ, как бы смутное облако, сквозь которое образ матери так и не мог проступить достоверно и ясно.

Вообще, очень трудно представить лицо человека, рядом с которым живёшь, или, по крайней мере, часто видишься на протяжении многих лет. Скорее запомнишь и чётко представишь лицо человека, которого видел-то, может, всего только раз, но который зато отпечатался в памяти, как фотоснимок. А вот тот, кто сопровождал тебя почти всю жизнь, кто старел и менялся по мере того, как менялся ты сам, он и будет тебе представляться, как некое облако, обобщившее множество разных обликов и состояний. Человек, пока он живой, так же неуловим и расплывчат, как сама жизнь; лишь разлука и смерть могут остановить непрерывный поток этих зыбких, перетекающих друг в друга образов. Да, лишь разлука и смерть позволяют нам вспомнить кого-то отчётливо, в полную силу, лишь они позволяют нам настоящему встретиться с тем, с кем они нас разлучили.

Вот и о матери я вспоминал все последние дни с такой силой и ясностью, словно впервые взглянул на неё внимательным, пристальным взглядом. Чаще всего вспоминались последние годы, когда мать была уже старой и грузной, но удивительно, что с годами лицо её становилось как будто всё более юным: мать смотрела на всё окружающее с выражением радостного недоумения. И так было странно на старом, оплывшем, морщинистом этом лице видеть это сияние влажных, слезящихся глаз и застенчиво-радостную улыбку. Маска суровости, которую мать носила всю жизнь, в последние годы спадала, и матушка словно опять превращалась в ребёнка, в десятилетнюю девочку. Даже ко мне она порой относилась, как к старшему, как к человеку, узнавшему что-то такое о жизни, что от неё самой скрыто завесою тайны.

Несмотря на ту маску суровости, что мать так привыкла носить, в посёлке каждому было известно, что нет человека добрее, чем Марья Ивановна, фельдшер здравпункта. И не только в её кабинете, пропахшем лекарствами, но и в маленьком домике, где мы с ней жили вдвоём, отбоя не было от посетителей. С утра и до ночи к ней заходили соседки или просто знакомые, а таких был целый посёлок. Кому-то была нужна медицинская консультация, кому-то — рецепт, как солить огурцы (матушка славилась как мастерица готовить), кому-то — просто житейский совет. Но каждый, по сути, хотел одного: побыть рядом с добрым и прямо-таки излучающим доброту человеком.

Мать была даже не очень-то и разговорчива. Она большей частью лишь молча сидела, сочувственно глядя на собеседницу, да кивала седою своей головой. А та, что зашла к Марье Ивановне на огонёк, без умолку говорила о пьянице-муже, о детях, которые совершенно отбились от рук, о несправедливом начальстве или о собственном никудышном здоровье. С кем ещё было и поделиться несчастьями, как не с Марьей Ивановной, добрейшей души человеком?

Если же матушка и говорила, то это всегда было что-нибудь очень простое. Для каждой она находила что-нибудь сказать в похвалу. “Вы счастливая мать”, — говорила она той, чей сын-оболтус принёс из школы, вместо привычных двоек, тройку или четвёрку. “У вас замечательный муж”, — говорила она про какого-нибудь совершенно никчёмного мужичонку, единственным плюсом которого было то, что, страдая язвой желудка, он не мог пить так по-чёрному, как большинство поселковых мужчин. “Вы поступили очень разумно”, — могла сказать она той, над чьей бестолковостью и непрактичностью потешались соседи, и ободрённая женщина уж готова была прослезиться.

“А и в самом-то деле, — думал, помнится, я, невольно бывая свидетелем этих бесед, — что есть глупый и что есть разумный поступок? В конце

концов, все дела и все мысли, даже самые умные или самые глупые, пройдут и забудутся — только след доброты сохранится надолго...”

Лишь теперь, вспоминая о матери, я вполне осознал, сколь огромную роль играла она для посёлка, в котором жила. Она, обитавшая тихо и скромно, без мужа растившая сына на нищенскую зарплату, всей своей жизнью убеждала людей в неизбывной, спасительной силе добра. Она была несокрушимой опорой для сотен людей — была именно потому, что никого ничему не учила и не осуждала, а просто жила себе тихо и скромно, с бесконечным терпением выслушивая своих бесконечных гостей, и каждому находила сказать что-то доброе и ободряющее. Я очень ясно себе представляю какого-нибудь похмельного мужика-забудьдугу, обиженного всеми на свете, от государства до стервы-жены, который совсем уж собрался, было, свести счёты с жизнью и думал лишь, где бы понадёжней приладить верёвку. Но вдруг мутным муторным утром, случайно встретив на улице Марью Ивановну Лыкову и перекинувшись с ней парой слов, бедолага подумал бы: “А куда это я тороплюсь? Да и что-то мне перед Марьей Ивановной стыдно... Нет, пожалуй, ещё поживу, — может, оно ещё как-нибудь устанится?”

Жизнь, которой жила моя матушка, ни к чему вне себя не стремилась, но была полна внутренним смыслом и светом добра, растворённым в каждой прожитой минуте. Мать жила жизнью как таковой, ни к чему постороннему либо потустороннему не приложенной и не обращённой; именно эта вот самодостаточность, цельность и полнота само-движимой, само-наполненной жизни и делала мать таким удивительным человеком. Она жила не для чего-то, а просто жила, излучая свою доброту так же естественно, как цветок испускает свой аромат. И просто побыть рядом с ней, посмотреть ей в глаза и послушать её утешения, всегда столь же простые, сколь мудрые, для любого её собеседника уже означало очиститься и укрепиться, поверить в неистощимую силу добра.

Даже не представляю: как же теперь существует посёлок без матушки? К кому теперь ходят на исповедь тётки, забытые жизнью, и у кого мужики занимают червонцы “до завтра”? Может, и весь наш посёлок уже опустел без неё, как этот необитаемый остров?

51

Погода испортилась. Небо заволокло плотными, будто из войлока, тучами. Дождь то накрапывал еле заметно, то начинал лить сильнее, и из укрытия лучше было не выходить: мокрые камни сделались скользкими, и ничего не стоило подвернуть ногу.

Да и что было делать снаружи? Видимость падала до двух сотен метров, серое море было неотличимо от серого неба, и даже крикливые чайки в такую погоду смолкали: они неподвижно сидели на скалах и не хотели взлетать, когда я к ним подходил. Птицы лишь отбегали, приоткрыв крючковые красные клювы и чуть разведя длинные крылья, и вновь застывали, как изваяния.

В дожди я пытался всухомятку, не разводя огня в очаге. Сырые дрова горели плохо, и при попытках зажечь огонь всё моё логово наполнялось дымом: получалось, что я выкуриваю из укрытия самого себя. После нескольких неудачных попыток обогреться у очага я счёл за лучшее просто терпеть, ожидая конца непогоды.

Эти дождливые дни тяжелее всего были даже не из-за холода и сырости, хотя озноб пробирал до костей, и заснуть по ночам долго не удавалось, сколько из-за мучительной тесноты, из-за чувства, что мир ограничен не просто пределами острова, а этой вот сумрачной полупещерой, в которой только и есть, что стены из отсыревшего камня да провисший навес, из щелей которого там-сям сочится вода.

Записи в дневнике становились не просто единственным делом в мучительно-долгие дни непогоды, но тем, что спасало меня от отчаяния. Я сошёл бы с ума или бросился вниз со скалы, не будь у меня возможности при помощи этих тетрадей посмотреть на себя и на всю свою жизнь как бы со сто-

роны. Порою казалось: есть два разных “я”. Один то затравленно смотрит, как дождь рыхлит море, то вяло грызёт что-нибудь, то пытается законопатить дыру меж камней, из которой всё равно тянет холодом, но делает всё механически и обречённо, как бы заранее согласившись с тем, что он уже проиграл свою битву за жизнь.

Другой же — тот, кто пишет дневник и поэтому смотрит на первого как бы со стороны, и он вовсе не так бестолков и не так безутешен. Он думает: если я до сих пор ещё жив, то, быть может, смогу продержаться и дальше? Бывали, в конце концов, дни и похуже, когда, например, меня двое суток носило по морю, или когда я оказался на этом вот острове без огня и без пищи, и без малейшего понятия о том, как же здесь выживать.

И тот, другой порой утешал и подбадривал первого, и даже давал ему дельные и простые советы. Можно сказать, я передавал дневнику то лучшее, что во мне было: свою рассудительность, волю и опыт, а потом сам же пользовался этим бесценным запасом.

Но дневник был, помимо прочего, ещё и единственным развлечением здесь, в этой сумрачной сырости затяжного ненастья. А развлечения, как ни странно, бывают порой почти так же важны, как тепло или пища. Страница тетради была для меня своего рода театром. Стоило пристально посмотреть на белеющий лист, как за ним, в глубине оживали какие-то бледные тени. Они то делались гуще, то снова редели, как будто ещё не решили: превращаться ли им в настоящие, яркие воспоминания или так и остаться теньями?

В этой странной игре что-то, конечно, зависело и от меня самого — от того, как я смогу сконцентрировать память, внимание, мысли, но многое определялось и собственной прихотью воспоминаний. словно там, на белеющей странице, шла своя жизнь, а я лишь наблюдал, как движутся призраки прошлого, как они появляются и исчезают, смеются и плачут, и пытаются что-то сказать. Чем-то это всё напоминало галлюцинации, которые нас посещают спросонья или в момент, когда мы засыпаем. Тогда тоже, случается, видишь какие-то лица и слышишь невнятные голоса, но никогда не бываешь уверен: существует ли то, что ты видишь, или это всего лишь продукт твоей сонной памяти или воображения?

(Далее в рукописи отсутствует ещё около 15–20 страниц. — Примечание издателя).

52

День сменял день; ночи, что их разделяли, становились длиннее и холоднее. Я чувствовал, что и во мне самом что-то меняется.

Так, я стал чаще и дольше смотреть на облака — вместо того, чтобы быть погружённым в хлопоты по добыванию и запасанию пищи. Нельзя, впрочем, сказать, что состояние неба и облаков вовсе не отражалось на обычной жизни, и наблюдение за облаками было бессмысленным делом; напротив, вопросы погоды были едва ли не главным, что занимало меня с утра и до вечера.

А что в предсказанье погоды может быть важней облаков? Когда по высокой, белёсой у горизонта и густеющей к куполу сини были словно рассыпаны лёгкие белые перья, то, несмотря на волнение моря, на ветер, я знал: день-другой будет солнечно. Когда от горизонта до горизонта росли, разбухали, клубились, слепили глаза своим сахарным блеском громадные белые горы, в то время как снизу, с исподу подошвы тех сахарных гор были пепельно-сизы, я понимал, что погода собирается переломиться. И тем более внятно о скором изломе погоды говорили слоистые, бледно-молочные плёнки, которые начинали затягивать небо и которым, тянувшимся низко и вязко, казалось, не будет конца.

Но облака предсказывали не только погоду. Поскольку моё настроение, да и вся моя жизнь очень сильно зависели от состояния атмосферы, то облака были вестниками перемен и во мне самом тоже. Не много было радости сидеть в протекающей хижине, ожидая конца затяжного дождя, или мок-

нуть под ливнем, который тебя захватил где-нибудь на увалах и стланиках тундры во время сбора брусники. Это не говоря уж о том, что ненастье резко снижало возможность того, что я разгляжу проходящее судно, а с него разглядят мой сигнальный костёр. Поэтому всякое приближение непогоды я переживал, как надвигающуюся болезнь: с нарастающим чувством тоски, отвращением к пище и вообще ко всему, что приходится делать. В дни, когда атмосферное давление падало, и было ясно, что непогода приходит надолго, у меня всё валилось из рук: окуни не засекались, креветки ускользали из пальцев с какой-то невиданной шустростью, и даже огонь в очаге горел так неохотно и вяло, как будто и он со мной вместе погружался в уныние.

Но бывало и наоборот. Вдруг проснувшись в сырой, сумрачной хижине, слыша стрёкот дождя, ощущая горячий, безжизненный запах холодной золы в очаге, я испытывал беспричинную радость. Хотелось немедленно встать, что-то сделать, куда-то пойти, словно я был не я, а другой человек, жизнерадостный, сильный и бодрый. С нетерпением я выглядывал из укрытия. Судя по дрожи лозин в неглубоком распадке и по тому, как ложилась на землю под ветром трава, задувало с востока; такой ветер обычно разгонял облака и приносил долгожданный конец затяжному ненастью. И в самом деле: в потоках войлочных туч, монотонно скользящих на запад, уже появлялись просветы, и я улыбался при виде фиалковых просиней неба, как будто увидел вдруг чей-то приветливый взгляд.

Порой я себя ощущал как бы зеркалом, отражающим переменчиво-сложную жизнь беспокойного неба. Прояснялось вверху — и на душе становилось светлее. Если небо, напротив, мутнело, то и я вслед за ним погружался в тоску.

Иногда же мне чудились и совсем уже странные вещи. Казалось, не я отражаю душой состояние неба, а наоборот: то, что происходит во мне, отзывается переменах в окружающем мире. И порой трудно сказать, кто кого отражает, когда я часами смотрю, как надо мной растут пухлые, кипельно-белые горы: облака ли меня, мою душу и мысли, или я, словно эхо, лишь вторю тому, что творится на небе?

Но в любом случае, созерцание неба было мне так интересно, так важно, как будто меж мною и облаками установилась обоюдная связь. Я просто не мог оторвать глаз от неба, когда, например, кучевая громада торжественно и неотвратимо наплывала на солнечный диск, и солнце, уставшее яро светить, с облегчением тонуло в светящейся, пышной небесной перине. Тогда из-за облака веером расходились солнечные лучи; а само облако, поглотившее солнце, становилось другим, как бы одушевлённым. Оно по-другому дышало и жило; его край превращался в сияющий нимб...

Порой, наблюдая за облаками, я впадал в столь глубокое оцепенение — благо, стоял уже август, и мошка больше не донимала, — что казалось: заметь я сейчас у черты горизонта корабль, я могу испытать вместо радости... досаду. Потому что — казалось мне время от времени — на свете нет ничего ни важнее, ни прекраснее клубящихся там, наверху, облаков...

53

Море и небо рождали ещё одно удивительное явление: миражи. Недаром Белое море ещё варяги называли Колдовским: миражи появлялись в нём часто, вторгаясь в реальность с какой-то спокойною наглостью. Особенно часто они возникали на восходе и на закате, когда свет низкого солнца, играя меж облаками и морем, рождал в атмосфере особого рода химеры.

Обычно мерещились острова. Плоские и маслянистые, словно блины, они повисали над горизонтом, и солнцу порой удавалось прокрасить малиновым цветом ту щель, что была между призрачным островом и зеркальной поверхностью моря. Миражи возникали всегда только в тихие дни, когда морю и небу ничто не мешало, обмениваясь отражениями, передавать их за тысячи вёрст от тех мест, где копия была снята с оригинала.

А уж если я подключал к той переключке рефлексов ещё и собственное воображение, то есть как бы вступал, сам-третей, в игры моря и неба, то

миражи становились фантастически разнообразны. Отряд скачущих всадников; обнажённая девушка с пышной грудью; красное знамя, застывшее в сложной-волнистой полёте; тарелка с дымящейся грудой картошки; кит, выпускающий фонтан пара; а вот и роскошный, лоснящийся кремовый торт, слишком вычурный для того, чтобы жить долго, — и действительно, вместо торта уже растекалось свинцовое озеро, по которому шёл караван из понурых верблюдов...

Порою мерещились и корабли. Но я быстро научился распознавать миражи и уж не векакивал, как поначалу, чтоб с дрожью в коленях кидаться к сигнальным кострам. Все корабли-миражи обязательно плыли над горизонтом, по небу; к тому же, я сразу угадывал их двухмерную, плоскую сущность — то, что свойственно лишь декорациям да миражам.

Моё отношение к этим воздушным химерам менялось. Поначалу они удивляли и даже пугали; потом, когда я привык жить в присутствии призраков, я почти перестал их замечать; но потом интерес к миражам опять обострился. Я чувствовал: с ними не так одиноко и скучно. Пусть это призраки; но само их присутствие в мире помогает нести груз обыденной жизни.

Что бы мы делали, как бы мы жили, не будь в нас иллюзий и заблуждений, не создавай мы легенд, не доверяйся мы мифам охотнее, чем доверяемся правде реальности?

А из всех тех иллюзий, что помогают нам жить, самая главная — это иллюзия собственного бессмертия. Поразительно: сколько ни убеждай жизнь и опыт любого из нас, что человек, без сомнения и без исключения, смертен, но о себе самом каждый всё-таки, в глубине души, думает: “Все — это все, а вот я — это я... Для меня-то, быть может, как-нибудь всё обойдётся? Ведь не может же быть, чтобы я, в самом деле, вдруг взял бы да умер?!”

Но вдруг это вовсе и не иллюзия, раз весь опыт жизни не может нас с ней разлучить? Может, это ещё одно доказательство существования Бога? В конце-то концов, даже те миражи, что возникают и тают вдали, в пепельном мареве над горизонтом, отражают какую-то всё же реальность, они никогда б не возникли, не будь в мире того, что их порождает.

Так я рассуждал, проводя час за часом на смотровой площадке над морем, и заносил часть своих рассуждений в тетрадь; но большую часть так и оставлял в виде недооформленных полуобразов, полудогадок — в виде своего рода мысленных миражей, которые возникали и таяли уже не вдали, не в сиреневой дымке над морем, а внутри моей собственной головы.

Порою я думал: а ведь этот дневник — это тоже своего рода мираж, который отражает реальность с неизбежной долей потерь, искажений и домыслов. Как реальный объект, порождающий некий мираж, находится, может, за тысячу вёрст, и его образ всегда искажается при передаче, так же точно и то, что пишу я на этих страницах, может сильно разниться с тем реальным событием или переживанием, что я пробую вспомнить и описать. Порою то, о чём я пишу, происходило не просто вдали от этого острова, но случилось в уже отдалившемся прошлом; но тем не менее, отражения этих далёких событий не рассеялись и не угасли, а легли на страницы этой тетради. И если эти записки какое-то время ещё сохранятся, то даже и в будущем будет жить некий след, некий отсвет давно минувших событий. Получается, что я вот на этих страницах играю примерно в такие же игры, в какие играют и море, и небо, создавая и пересылая в пространстве череду отражений, строя тающий ряд миражей...

54

Пора написать и о том, как я по собственной глупости заболел и едва не отдал Богу душу.

Месяц примерно назад я поддался соблазну поесть настоящего мяса (креветки и мидии осточертели!) и погнался за гусем-гуменником. Нет, я пока что не спятил с ума и вполне понимал невозможность поймать столь осторожную, зоркую птицу, как гусь; но я застал ту короткую пору, когда гуси линяли, летать не могли и показались мне доступной добычей.

Поверхности тундры — её косогоры, холмы и низины — уже поменяли свой цвет: они, словно птицы, тоже линяли. Вместо тех голубых, ярко-жёлтых и синих полей горечавки, камнеломки и мака, которые празднично-ярко цвели между серо зелёных камней, теперь главным тундровым цветом был охристо-бурый. Это был цвет начинающей жухнуть листвы, цвет морошки, чьи рыжеватые ягоды будто светились по влажным низинам, цвет буровато-коричневых шляпок грибов, которых местами высыпало так много, что некуда было ступить, и нога оскользалась по ним, цвет, наконец, тех подпалин, что оставались от бивших по острову молний.

И вот я заметил, что берег озера покрыт, словно снегом, налётом из птичьего пуха и перьев. Эти перья и пух то взлетали, кружились и опускались на воду; то, когда ветер дул в сторону тундры, сбивались в комки и жгуты, облепляли кусты ивняка, до краёв заполняли ложбины и ямки.

“Да это же линька!” — сообразил я, догадавшись, что птицы, наверное, будут сейчас лёгкой добычей. Действительно, многие гуси летать не могли. Они кормились на озере, на мелководе; если их что-то пугало, то они убегали по отмели, шлёная красными лапами и ударяя огромными крыльями по воде, но были не в силах взлететь над волной, которую гнал перед ними напористый мах их же собственных крыльев.

“Значит, так, — разрабатывал я план охоты. — Главное — выгнать гуся на берег. А уж там я как-нибудь с ним справлюсь: не палка, так камень догонит”. Набрал подходящих камней — карманы куртки отвисли — и разыскав на развалинах базы увесистый прут арматуры, я долго и терпеливо, где на корточках, а где и на четвереньках кралясь берегом к отмели, где кормилось гушиное стадо. Ветер, как и положено, дул от гусей в мою сторону. Кусты ивняка хорошо меня прикрывали; чтобы не выдать себя раньше времени, я даже не поднимал головы, а пробирался на слух в направлении рёгота птиц, что кормились на мелководе.

Голод, соединившись с азартом охоты, обострял мои чувства; слух утончался настолько, что я слышал журчанье воды в клювах кормившихся птиц. Но вот всё остальное, чем полон был мир, — посвист ветра и шелест листвы, мышинные пiski и свист пронесшихся надо мной куличков (то есть то, что я слышал всегда) — как бы вдруг отдалилось, почти перестало для меня существовать. То же самое было со зрением: мир сужался. Когда сквозь просветы в листве я мог видеть гушиное стадо, то казалось, что перед моими глазами бинокль: настолько отчётливо я видел горбатые красные клювы, блестящие бусины глаз, видел, где в крыльях гусей, когда они их расправляли, недостаёт выпавших маховых перьев. Но всё остальное, что находилось обочь напряжённого взгляда, словно и вовсе не существовало.

“Главное, выбрать себе одного только гуся и за ним уже гнаться”, — убеждал я себя самого, приближаясь к границе кустов. Я понимал, что мешает неопытным хищникам вроде меня: им мешает отсутствие четко намеченной цели. “Вот так погонишься — гуси кинутся в стороны, и останешься, как дурак, стоять со своей железкой в руке... Нет уж: выбрал кого-нибудь — так и гонись за ним до конца!” Я выбрал — конечно, от жадности! — самого крупного гуся. Может быть, это был даже вожак: его рёгот был самым звучным, а взгляд показался мне самым надменным. “Значит, так, — прикидывал я траекторию бега. — Сначала по отмели наискось, чтобы отрезать стадо от озера, а потом гнать их на берег!”

Первая часть операции получилась блестяще. Стартовав, как с колодок, — когда-то я был неплохим бегуном! — я с плеском и брызгами выскочил на мелководе, так что отрезал десятку гусей путь к озеру. Моё появление произвело эффект взрыва: так стали орать, хлопать крыльями и разбегаться вполоншённые гуси. Я едва не упустил из вида вожака. Брызги от собственных ног и от крыльев гусей ослепляли меня, но я всё-таки выбежал точно к нему. Вожак попытался ещё проскользнуть, огибая меня, на открытую воду, но я швырнул два увесистых камня (один тупо шлёпнул его по крылу) и завернул-таки грозно безжавшего гуся на берег.

Казалось бы, на берегу преимущество было уже на моей стороне. Взлететь гусь не мог — он мог только бежать, помогая себе напряжёнными ма-

хами крыльев, но я даже не представлял, до чего быстрым окажется этот его полубег, полудёт. Огромные крылья взвихряли листву, да ещё и от них самих летел пух, а красные лапы шлёпали по камням, и огромное серое сильное тело гуменника, словно снаряд, неслось над тундрой.

Дважды я его чуть не схватил. Но один раз промахнулся — с неожиданной ловкостью гусь вильнул влево, а в другой раз в руке у меня осталось лишь несколько перьев: линька птице не только мешала, но и помогала. Я уже задыхался: всё-таки я поотвык от таких ускорений. А гусь бежал и бежал, рөгоча, разгоняя громадными крыльями ветер. К тому же — хитрец! — он бежал по широкой дуге, забирая всё влево и влево, и вот уже мы не удалялись от озера, а приближались к воде. Почувствовав, что упускаю добычу, я швырнул прут арматуры. Гусь упал, вскочил, снова упал — я вот-вот должен был его ухватить, но тут началось мелководье, бежать приходилось уже по воде, и это прибавило шансов подраненной птице.

Мне бы, дураку, бросить погоню и остановиться — ведь ясно же было, что по воде я его не настигну! — но вожак плыл так неровно, такими судорожными толчками (видно, одна из лап была всё-таки перебита), что я продолжал за ним гнаться. Вода доходила мне уже до колен, потом, оступившись в какую-то ямку, я ухнул по грудь, а гусиный вожак, словно смеясь надо мной, продолжал хлопать крыльями по воде в каком-нибудь метре от моего лица.

Вот я снова его ухватил за тугое крыло. Но под ногами я больше не чувствовал дна, и гусь потащил меня на глубину. Вода была ледяная, и я не мог толком вдохнуть; а тут ещё гусь-вожак решил перейти в наступление и стал бить меня клювом, тяжёлым, как молоток. Один из ударов пришёлся по переносице: из глаз брызнули искры, и всё потемнело. Я взвыл, отпустил эту чёртову птицу и погрузился под воду.

Но гуменник не унимался. Как только я вынырнул, он с шипеньем и криком опять налетел на меня. Я уже плохо видел, где берег, куда же мне плыть, потому что вокруг меня всё кипело, и я думал лишь об одном: как бы этот бешеный гусь не выбил мне клювом глаза. Мы с ним поменялись ролями: вожак передал мне даже свой прежний страх и перенял мой азарт, и торжествующий рёгот гуменника раздавался теперь, как клич победителя.

Плохо помню, как я добирался до берега: всё было, словно в тумане. На погоню и на безрассудный заплыв по ледяной воде ушли все мои силы, и, вместо того, чтоб скорей идти в лагерь и сушиться возле костра, я рухнул ничком на холодные мокрые камни. Сначала дышал хрипло и часто. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Но потом я затих, и меня охватила неодолимая слабость. Было слышно: вода, что стекает с меня, тихо-тихо журчит меж камнями. Мышь-пеструшка, несколько меня не пугаясь, перебежала через мою отведённую в сторону руку, а трясогузка, качаясь, расхаживала перед самым лицом. Вот только недавно я нёсся по тундре, полный сил и азарта, а теперь лежал, как убитый, и не мог даже пошевелиться. Ничего не хотелось: бурная вспышка энергии будто выжгла дотла моё тело и душу.

Не двигаясь, в полузабытьи, я пролежал на камнях долго. Но я слышал шум ветра и писк куличков, пробежавших по отмели, и слышал далёкие клики гусиного стада, которое всё никак не могло успокоиться. Я бы лежал так и дальше, но неудержимый озноб стал трясти моё тело. Зубы стучали так, что я опасался: они раскрошатся. Кое-как я поднялся и побрёл, спотыкаясь, по тундре, но меня всё равно колотила такая крупная дрожь, что казалось: кто-то невидимый бьёт по мне палками, и я весь содрогаюсь от этих тяжёлых ударов...

55

Неудивительно, что я заболел. До хижины кое-как, спотыкаясь, добрёл; но на костёр сил уже не осталось. Я только стянул с себя мокрую куртку, рубаху, штаны, бросил всё возле входа и голый залез под шинель.

Сначала меня продолжал бить озноб. Но вот он затих, меня прошиб пот, и я погрузился в болезненный бред. Не знаю, стоит ли пытаться описать его?

С одной стороны, всё, что ни сочини, всё может стать описанием бреда. Никто ж не проверит, что ты действительно чувствовал, а что сочинил лишь теперь.

А с другой стороны, как бы точно ты ни передал то, что помнишь из сумерек бреда, — это будет лишь приблизительным отражением миража, будет слабой, бессильной попыткой передать ложью слов ложь болезненно-вздорных видений.

Но я всё же попробую. Тем более что я хорошо помню главную тему болезненных грёз: назойливо мне представлялась вода — в самых разных её проявлениях. Видимо, жар и озноб так меня иссушили, что даже при отключённом рассудке подсознание выражало одно лишь желание: “Пить!”

То мерещились иглы сосулек, свисавшие с крыши сарая: они ярко сверкали на солнце, и частой капелью с них падала даже не просто вода, а, казалось, сам солнечный свет. Всё это было так ярко и зримо: капель разбивалась о наледь внизу, и на солнце сверкал влажный радужный дым. Мучаясь жаждой, я жадно тянулся к ближайшей сосулке, хватал и отламывал, торопливо лизал её скользкий конус, но язык оставался шершавым, сухим...

Или виделся влажно-болотистый луг, кочковатый, туманный. Я перескакивал с кочки на кочку, а они прытопали в торфянисто-рыжей воде. Изнывая от жажды, я падал на четвереньки — руки по локти тонули в податливом торфе — и пытался схватить ртом ржавую, всю в болотном мусоре воду. Но не вода, а какая-то едкая пыль набивалась и в ноздри, и в рот: от неё было трудно дышать и першило в груди, и надсадный, отрывистый кашель сотрясал моё жаркое тело...

Но самым мучительным бредом был назойливый бред о колодце. Вот я подбегал к обомшелому влажному срубу, заглядывал внутрь — и глазам открывалась мерцающая плёнка воды. Там, внизу, на качавшемся зеркале появлялось моё отражение, но это был не теперешний я, а мальчик лет четырёх или пяти, который смотрел на меня с изумлением и ужасом. Может, он тоже видел меня, каким стал я теперь, эту грязную, полубезумную рожу? Какое-то время мы с ним смотрели друг другу в глаза. “Неужели я был таким?” — думал я. “Неужели я стану таким?” — должно быть, думал он. И я медленно, чтоб не спугнуть своего двойника, начинал тянуть к нему руку, и мальчик, я видел, тянулся дрожащей ручонкой ко мне. Наши пальцы вот-вот должны были встретиться, я перевешивался внутрь обомшелого, скользкого сруба — и, конечно, срывался! В первый миг было радостно — ведь я падал в воду! — но по мере того, как я погружался в колодец, меня обдавало всё нарастающим жаром. Уже было трудно вдохнуть, и, пока я летел в темноту, мне в лицо било жаркое чёрное пламя...

56

Я очнулся настолько разбитым и слабым, что не только пошевелиться — перевести взгляд было трудно. Но мысли бежали так быстро, как будто болезнь сняла с них тормоза, и через звенящую от пустоты черепную коробку теперь нёсся вихрь обгонявших друг друга образов.

Пить хотелось ужасно. Казалось, не только мои пересохшие губы, но всё тело и даже душа потрескались и почернели, как земля в засуху. Глоток воды означал теперь глоток жизни, но до воды ещё надо было добраться.

Кое-как я перекатился с подстилки на каменный пол и на четвереньках пополз к выходу. В эти минуты я себя видел и чувствовал как бы со стороны: словно вовсе не я, а другой человек, задыхаясь и кашляя, копошится в потёмках пещеры. Я почти с интересом за ним наблюдал: доползёт он до выхода или не доползёт? Помню, что руки мои подгибались от слабости, и я падал на камни лицом. Страшно не было — было как-то мучительно скучно. “Ну, зачем, — думал я, — нужна мне дурацкая эта морока, которая называется жизнью”?

До выхода я всё же дополз. Снаружи стояла порожняя банка, куда дождь налил немного воды. Несколько жадных глотков, что я сделал, конечно, не могли утолить всей моей жажды, но они возвратили мне утешение, бы-

ло, желание жить. Я встал на ноги и, пошатываясь, побрёл к ручью. Тропа вела вниз, поэтому ноги переставлялись как бы сами собой, и вот, наконец, я упал лицом в светлую, быстро бегущую воду.

Пил долго и жадно, захлёбываясь и задыхаясь. Желудок раздулся, как шар, и было уже неудобно лежать ничком на камнях. Я перекатился на спину и какое-то время лежал, отдуваясь и глядя в небо. Лицо, язык, губы онемели от ледяной воды. Слабость была ещё велика — сжать руку в кулак я не мог, — однако поток беспорядочных мыслей уже не летел напролёт сквозь гудящую голову, какие-то мысли задерживались, и на них можно было сосредоточиться.

Я думал: “Что же мне делать?” Было ясно, что лихорадка и бред скоро снова накроют меня, поэтому, если я хочу жить, надо как-то лечиться. “Лечиться — но чем? — спрашивал я себя самого, и сам же себе отвечал: — Только тем, что есть под руками...” Буквальный смысл этих слов так подействовал на меня, что я стал в самом деле рассматривать: что же лежит под руками? Под правой рукой были камни, испачканные птичьим помётом. “Не годится”, — подумал я и медленно перевёл взгляд налево. Левая кисть лежала на сломанной ивовой ветке. “Постой-ка, постой, — начал я вспоминать. — Ветка ивы, кора... Ну, да — этот, как его? — аспирин!” И я вспомнил, что аспирин получают как раз из ивовой коры.

Низкой ивы здесь, возле ручья, было много: её красноватые прутья податливо гнулись под ветром, а узкие листья при каждом порыве показывали свой серебристый испод. “Вот и лекарство, — подумал я. — Только хватило бы сил сделать отвар...”

На то, чтобы наломать тонких веточек ивы, очистить их от листьев, принести в хижину воду, развести в очаге огонь и поставить на пламя кастрюлю с торчащими из неё ветками, — на всё это ушло часа два. К концу этой медленной и кропотливой возни я совсем обессилел и решил лечь, ожидая, пока закипит, а потом настоится отвар. Только сейчас я заметил, что всё ещё голый, и решил, хоть одежда ещё не просохла, одеться. “Когда будет жар — она меня охладит, — думал я. — Да и просохнет на мне, как на печке”.

Едва опустил я на ложе, как полусон, полубред вновь меня одолел. Правда, было уже не так тяжело и не так жарко, как давеча. Меня охлаждала сырая одежда; к тому же, рядом стояла банка воды, и я к ней припадал, когда в голове прояснялось. Тяжелее всего в этот раз было чувство тревоги, которое ни наяву, ни в забытьи меня не отпускало. Я беспокойно стонал и метался. Ложе моё превратилось в бесформенный ворох из веток, мха и потных скомканных тряпок; а тело, казалось, вот-вот превратится в такой же бесформенный ком из костей, сухожилий и мышц...

Когда я снова очнулся и встал, уже вечерело. На ватных ногах, опираясь руками о стены, я вышел наружу и справил нужду. “Да, лекарство...” — вдруг вспомнил я и подошёл к очагу. Ивовый отвар уж остыл: он был коричневым и маслянистым на вид. Морщась, отпил три глотка — от горечи чуть не стошнило — и запил это снадобье чистой водой. Перед тем, как вновь лечь, я какое-то время стоял перед входом в пещеру и смотрел на закат. Море было свинцовым и гладким, а небо над ним розовело, напоминая разбавленный клюквенный сок. Я подумал, что, если закат побледнел — он был уже не такой воспалённо-багровый, как раньше, — то и мне в эту ночь должно быть полегче.

Снился опять тот же самый колодец-родник, в который я падал недавно. Но само настроение сна уже было другим: уж не жажда, не страх, а иное, отрадное чувство вело меня к влажному срубу и заставляло заглядывать внутрь. Внизу голубел квадрат неба — и оттуда опять удивлённо смотрел на меня пятилетний мальчишка. Вместе с небом и мальчиком я видел дно родника: песок словно дышал, поднимаясь живыми буграми, и листья ивы кружились по отражению синего неба. То, что небо и мальчик, и родниковое дно были видны одновременно, и одно не мешало другому, утешало и радовало меня...

Болезнь, которую я пережил, сделала меня другим человеком. Когда на ещё очень слабых ногах я стал выбираться из хижины и совершать недалёкие выходы к морю — хочешь не хочешь, но добывать пропитание было необходимо, — я почувствовал, как изменился мой взгляд на всё, что я вижу.

Глядя, скажем, на камень, на створку мидии или корягу — на любой из предметов, встречавшихся мне, — я видел не просто корягу или камень, но видел и нечто иное. Границы предметов терялись, и всё, из чего состоял окружающий мир, теперь как бы перетекало друг в друга. Всё для меня перестало существовать по отдельности и само по себе, но стало жить в несомненной, пускай не всегда проявлявшейся ясно, но всё же в реальной и всё более крепнущей связи.

Поэтому, когда я, например, вынимал из песка несколько раковин мидий или сдирал с камня лоскут мха, я чувствовал, что изымаю из мира какую-то часть и тем нарушаю всеобщее хрупкое равновесие сил и предметов. Конечно, мир был слишком велик, я был слишком мал, и следы, что я в нём оставлял, были тут же заглажены, как заглажены были мои следы на песке после двух-трёх накатов приборной волны. Но я всё равно создавал как бы дрожь и вибрацию в мире, нарушал его сонный покой, и это вот странное чувство моего вторжения в мир с каждым днём становилось заметнее.

“Почему же я раньше этого не ощущал? — с удивлением спрашивал я себя самого. — То ли раньше я был сильнее и оттого равнодушнее, то ли просто с течением времени я так сжился со всем окружающим, что мне теперь жаль причинять ему даже малейший ущерб?” Между мной и любым из предметов, на который я долго, задумчиво и отрешённо смотрел, больше не было резкой, неодолимой границы. Всё, чего я касался рукою или взглядом, каким-то таинственным образом переходило в меня самого, и мне было трудно решить: где кончаюсь я сам, а где начинается мир, что меня окружает? Можно сказать, мир стал мною самим; я же сам, созерцавший его, стал отчасти всем тем, что меня окружало: и этим вот облаком, что краснело на палевом фоне заката, и этой вот чайкой, скользящей над гребнями волн, и блеском ручья, и ещё много чем, что я даже сейчас не могу перечислить.

Мне было важно понять: есть ли подобное размягчение взгляда, стирание границ между мною и миром всего лишь следствие и отголосок болезни? Или, может быть, мир и в самом деле таков: то есть в нём всё тесно связано и сплетено, и ни одно из событий не происходит случайно, само по себе? Может, болезнь всего лишь обострила мой взгляд, и я теперь вижу всё в истинном свете?

Главным же чувством, которое я постоянно испытывал после болезни — было чувство жалости к миру, который (как я с изумлением вдруг осознал) оказался таким беззащитно-ранимым. И опять я не мог отделить себя самого, свою жалость к себе от жалости к миру, который как будто всё время таял и плыл, потеряв свою прежнюю жёсткость, в моём размягчённом, рассеянном взгляде.

Я стал до смешного слезлив. Даже как-то неловко об этом писать, но я мог прослезиться по самому пустяковому поводу. Больше того: едва ли не всё, на что я смотрел, вызывало во мне чувство жалости, и глаза мои как-то сами собой наполнялись слезами.

Что это было такое, и почему мне всех было жалко? И вон ту юную, пёструю чайку-чебару, которая так бестолково и неумело гоняла по отмели рыбу; и рыбу, которая серебристыми брызгами прыскала от раскричавшейся чайки; да что там: мне было жаль даже бурю водоросль, что лежала на камне и сохла под солнцем! Я себя сознавал как-то сразу и чайкой, и рыбой, и этой морскою травой, и ещё множеством разных существ — и ощущал совокупный, почти неподъёмный груз существования, который нам всем приходилось нести. Казалось: обязанность всех понимать, всех жалеть, обо всём этом помнить и думать лежит лишь на мне на одном, и если я вдруг не выдержу тяжести этого груза, то вместе со мною обрушится весь окружающий мир.

Потому-то мне было так трудно кого-то поймать, умертвить; порой было трудно даже просто ходить и дышать, просто видеть и слышать что-либо. Я чувствовал, как неверный мой шаг, раздражённо-озлобленный взгляд — даже просто неверная мысль! — могли неожиданно стронуть, нарушить непрочное равновесие мира...

58

А уж случай с зайцем окончательно мне доказал, что я стал другим человеком, и несколько месяцев жизни на острове так изменили меня, что я нынешний мог бы, пожалуй, и не узнать того парня, который когда-то, охваченный страхом и жаждой жить, не мог помышлять ни о чём, кроме отчаянной и беспощадной борьбы за существование. Тогда во мне был избыток жизненной силы, и она, эта сила, словно бы отделяла меня от всего окружавшего; теперь же, когда я ослабел, я больше не чувствовал этой преграды.

Тихим сереньким днём — сыпал мелкий, задумчивый дождик — я вошёл у хижины, поправляя просевшую кровлю, и вдруг услышал далёкий и жалобный крик. “Чайка? Да нет, не похоже”, — прислушался я. Казалось, что где-то плачет ребёнок, и было не по себе от этого жалко-протяжного крика. Выйдя на косогор, на открытое место, я постарался точнее определить: где же это кричат?

Жалобный крик доносился из распадка между холмов, где желтела листва невысокой полярной берёзы. Пока шёл по камням и по мху в направлении крика, я вспомнил: ещё до болезни я поставил там несколько петель на зайцев. Охотник, конечно, я был никудышный, но зайцы здесь были не пуганые, и сработала, видимо, даже моя немудрёная снасть.

Слышать крик было так неприятно, что я торопился, как мог. Воображение живо рисовало мне зайца, попавшего в проволочную удавку, все его муки и отчаянные попытки освободиться, словно в этих силках оказался я сам.

При моём приближении крики затихли, зато затряслась, зашумела одна из берёзок в ложбине, и листва полетела с неё, как от сильного ветра. Действительно, в силках бился заяц. Петля из проволоки захлестнула его заднюю лапу, и бедолага, казалось, вот-вот её вырвет: так он отчаянно прыгал и падал, и снова пытался, царапая камни и мох, оторваться от собственной насмерть прихваченной лапы.

Я опустил на корточки рядом с зайцем. Он притих и припал к земле серым дрожащим комком. Его задняя левая лапа торчала вбок: проволока перетёрла её почти до кости. Видеть это было так неприятно, что я машинально потёр рукой собственную лодыжку, словно сам ощущая саднящую боль от петли.

Потом достал нож, поразившись тому, как дрожат мои руки. То, что недавно казалось простым и естественным — взять да прирезать добычу, содрать с неё шкуру, а потом сварить суп или приготовить жаркое — было теперь невозможно. Для убийства был нужен тот запас жизненной силы, которого у меня больше не было. Зарезать сейчас этого жалкого зайца с торчащей вбок задней лапой было бы почти то же самое, что зарезать себя самого.

Сняв куртку, я накрыл ею зайца, схватил его лапу и перерезал проволоку ножом. Я хотел и совсем снять петлю; но, пытаясь перехватить заячью лапу удобнее, я на мгновение выпустил пленника, и он вместе с курткой, его накрывавшей, рванул по косогору. Метров десять он протащил куртку на себе, а потом, наконец, выскочил из-под неё и уж тогда припустил во весь дух. Истёртая лапа, видно, ему не мешала: заяц нёсся зигзагами, почти не касаясь земли. Вот он напоследок мелькнул серой тенью по рыжим камням и скрылся из глаз.

Вся эта история сильно подействовала на меня. Первым делом я снял остальные четыре силка, чтоб, не дай Бог, ещё кто-нибудь не запутался в них. Потом долго сидел у берёзки, где был пойман заяц, — она была голой, совсем облетевшей среди ярко желтевших подруг — и с грустью смотрел на обрывок петли, что болтался на ней. “Да что же это такое? — пытался я взять

себя в руки. — Если так пойдёт дальше, то я со своею дурацкою жалостью помру здесь от голода...”

Но в то же время я чувствовал: страх за жизнь, за себя самого, который я раньше испытывал, можно сказать, непрерывно, почти совершенно оставил меня. И впервые за три с лишним месяца я сознавал, что спокойное равнодушие к себе самому есть, может быть, самый главный залог спасения. Тот, кто боится погибнуть, обычно и гибнет; но тот, кто уже как бы смирился со смертью и внутренне принял её, тот обретает внутри себя новые силы.

59

Жизнь на острове шла своим чередом, и моё здесь присутствие ей не очень мешало. Я был скорее свидетелем, чем активным участником жизни и, в основном, лишь фиксировал — в памяти или на страницах тетради — те перемены, что совершались вокруг.

Так, ручей обмелел — на перекатах обнажилось хрящеватое дно, — и можно было перейти его, почти не замочив ног. Я уж подумывал, не соорудить ли запруду, чтобы иметь рядом своё небольшое пресное озеро; но в одно ветрено-ясное утро увидел такое, что отбило у меня желание вмешиваться в природу.

Заметив, что чайки кричат и встревожено выются над морем как раз против устья ручья, я пошёл посмотреть, что их так взволновало? По морю шла крупная рябь; но казалось, что там, где орут и волнуются чайки, гребни волн серебрятся каким-то особым, стальным, переливчатым блеском. Странный шум доносился оттуда. Широкое устье ручья пополнило, словно не ручей теперь впадал в море, а море, напротив, прилило к ручью и решило вдруг двинуться против течения.

Лишь подойдя ближе, я понял, в чём дело: огромная стая лососей, теснясь и сверкая, заходила на нерест! Вода в ручье словно кипела; слышался плеск и удары хвостов, и хруст тесно трущихся рыб. Солнце вспыхивало на их серебристых боках. Иногда какой-нибудь из лососей стгоряча вылетал на берег и, высоко подпрыгивая на камнях, не сразу мог возвратиться в тугой, мускулистый поток своих соплеменников. Ощущение неодолимой, слепой, обезумевшей жизненной силы исходило от рыб, упорно стремящихся вверх по ручью. На отмелях и перекатах даже камни летели от яростно бьющих хвостов; казалось, что стая лососей подняла отчаянный бунт против силы тяжести, против течения воды, против мёртвых законов природы. С восторгом и ужасом я наблюдал этот апофеоз слепой жизненной силы, которая заставляет совершать невозможное, а затем погибать, чтобы дать жизнь будущим смертникам.

Тугой, переливчатый блеск рыбьих спин всё полней затоплял собой тесное русло ручья. Чуть выше, где был небольшой водопад, лососи взлетали один за другим, словно кем-то подброшенные, и шлёпались в воду уже наверху, за чертой водослива. Кого-то сносило обратно, но самые сильные, бурявя и пеня хвостами бурлящую воду, остервенело рвались вверх и вверх, к озеру, к тем местам, где когда-то родились и где скоро встретят свой неизбежный конец.

Нельзя было глаз оторвать от этого, — в сущности, очень печального — зрелища. Очевидно же было, что весь этот яростный, самозабвенный порыв, подхвативший лососей, двигал их к смерти. Впервые воочию, так откровенно и ясно мне показали связь жизни со смертью, впервые я понял: чем больше в нас жизни — тем ближе смерть...

Шопенгауэр, мой любимый философ, которого я увлечённо читал, когда сдавал кандидатский минимум, думал, по сути, о том же самом. Воля к жизни, в которой немецкий мудрец видел так много тёмного и рокового, ведёт всех к одной цели: к смерти. Все мы, — это лососи, что люди, — азартно и слепо стремимся туда, где должны, наконец, сбросить пути пленившей нас жизни и освободиться от тяжкого бремени существования.

И как хорошо, что я, уже утомлённый борьбою за жизнь, ослабевший, задумчивый и одинокий, всё меньше в себе ощущаю вот этой слепой, тём-

ной силы, которая называется волей к жизни, и всё больше смотрю на мир, как на некое представление, как на то, в чём я больше почти не участвую, но зато наблюдаю с сочувствием и интересом, как азартно живут и томятся своей неизжитой волей другие... Я восхищался лососями, их красотой и силой, их яростно-самозабвенным порывом и в то же время был счастлив, что я не лосось, что мне уж не надо идти на слепом поводе у самого себя, уж не надо, томясь неизбежным желанием жить, слепо двигаться к собственной смерти.

Что это было: усталость или мудрость? Не знаю. Но знаю, что те перемены, которые все последние дни и недели происходили во мне, были душеполезны. Страх смерти, который прежде руководил моей жизнью, моими поступками, почти перестал меня волновать. Возможно, конечно, что всё это было временно, и когда я наберу сил после болезни, страх смерти и воля к жизни вернутся ко мне, но пока что я жил в отрешённо-задумчивом, благостном и созерцательном состоянии. “Плывите, лососи, — думал я, сидя возле ручья и рассеянно глядя, как поток самой жизни кипит и беснуется передо мной. — Меня-то уж не заставишь плыть против течения, потому что я знаю, к чему нас ведёт наша воля и страсть, наш слепой и обманчивый порыв...”

60

Внешне жизнь моя мало переменилась. Я так же день изо дня совершал обход тундры и побережья, сушил грибы и заквашивал листья берёзы, таскал плавник к хижине и до рези в глазах следил за пустынным морским горизонтом.

Но внутренне я стал другим человеком. Теперь не то, чтобы зайца, но даже рыбу мне было трудно убить. Рыбалкой поэтому я больше не занимался, довольствуясь тем, что море дарило само: то тушею нерпы, то просто-напросто ворохом ламинарии, которая, кстати, если её отварить с грибами, а после приправить брусничкой и жиром нерпы, была очень даже вкусна. Крыля, правда, я всё-таки ел: совсем без белка обойтись было трудно. Да и рыбный запас у меня был довольно приличный: всё лето я ловил и сушил окуней, и теперь их пахучие связки свисали со стен моей хижины.

Интересно, что всякая-разная живность теперь перестала меня опасаться. Вот тоже странно: откуда, казалось бы, зайцам и птицам знать, что я теперь предпочитаю безубойную пищу? Например, куропатки порой подпускали меня на расстояние вытянутой руки, а мыши-пеструшки — так те вообще могли затеять возню у меня на постели. И я теперь, словно какой-нибудь древний волхв, жил в окружении разных птиц и зверей и только что не понимал их звериный и птичий язык.

Тундра, по которой я целыми днями бродил, становилась всё более рыжей, багряной и бурой. Стоял, как-никак, уже конец августа, на мшистых проплешинах и на полях стланика по утрам лежал иней, и лужицы, что оставались на плоских камнях, за ночь вымерзали до гулкой — под ломкими корками льда — пустоты. Дни, впрочем, были прекрасны: безоблачны, с яркой ветреной синевой неба вверху и с фиалковым, в белых крапинах пены морем внизу. Я порою бродил по холмам безо всякой практической цели, просто радуясь солнцу и той красоте, что лежала вокруг. Раньше я даже не представлял, что полярная тундра может быть такой разноцветной и яркой. Порой я жалел, что у меня нет картона или холста и каких-нибудь красок, потому что уж очень хотелось запечатлеть окружающие виды. Вон тот, например, косогор с багряным брусничником, золотой щетиной берёзок и с белой полярной совой, которая, как изваяние, неподвижно сидела на камне, уставясь на меня парой круглых бессмысленных глаз. Или этот спуск к морю: громадные чёрные камни, которые придают морской сини, сквозящей меж них, фиолетово-масляную густоту.

Я бродил и бродил, как бы впрок набирая и света, и разноцветия тундры, и радости от созерцания моря и неба, сознавая, что этот невещественный запас чем-то даже важнее запаса еды или топлива. И слова стариков: “Не могу насмотреться на мир” — становились мне так до боли понятны...

Мысли о приближавшейся стуже и скорой полярной зиме больше не вызвали во мне ни паники, ни отчаяния. “Ну, зима, ну, полярная ночь, — думал я. — Будь, что будет. Если мне суждено замёрзнуть, то, значит, замёрзну: не я первый, не я последний...”

В те дни я часто думал о том, что все люди, в сущности, смертники, которым уже оглашён роковой приговор, не подлежащий обжалованию, но только не названы сроки его исполнения. И я здесь, на острове, был в положении даже несколько лучше, чем все остальные. Меня-то могло ещё, в принципе, забрать проходящее судно и тем существенно переменить мою жизнь; а к большинству из живущих на материке никакое судно никогда не придёт, и они будут дожидаться конца в тех же обычных и безнадежных условиях жизни, в которых они находились всегда. Так что ещё неизвестно, кому кого надо жалеть: людям — меня или мне — остальных, где-то в дальних краях ожидающих смерти людей?

То ли эти и им подобные мысли, то ли что-то ещё, но нечто родило идею, которая поначалу казалась мне дикой. Однако когда я с ней свылся, я стал удивляться другому: как же она не пришла ко мне раньше?

Я решил, что мне надо, не мешкая, ставить на острове крест. То есть буквально: найти на побережье высокое место и воздвигнуть там крест по-аметнее, чтобы его можно было увидеть в бинокль с проходящего судна. Не могу же я целые сутки следить за морским горизонтом: мне надо и спать, и готовить еду, и ходить в тундру на промысел. А ну, как в то самое время, когда меня не было на берегу, какой-нибудь мимоидущий корабль уже появлялся на горизонте? Стоял бы здесь крест — его б не могли не заметить; а зная, что прежде здесь ничего подобного не наблюдалось, моряки должны были задуматься: как же он появился?

Выходит, я сам, по собственному недомыслию, не использовал все возможные шансы спастись. Но теперь, когда я это понял, я обязательно должен был соорудить на берегу крест, напоминающий издали человека с раскинутыми руками, — символ, взывающий к людям и миру о помощи.

61

Место для креста я нашёл сразу: на возвышении берега, как раз над той отмелью, где ручей впадал в море. Это было самой высокой точкой в моей части острова, и странно, что я раньше не догадался поставить здесь какой-либо опознавательный знак.

Труднее всего было притащить сюда ту бетонную балку длиной примерно в мой рост, что я откопал на развалинах базы. Пусть в сечении она была и не очень-то толстой, но, во-первых, надо было сначала её откопать из груды щебня, поросшего мхом, а во-вторых, километра два волочить эту балку по тундре.

Откапывал я её полных два дня. Сейчас, ближе к осени, дни становились заметно короче, я не успевал сделать всё, что задумал, при солнце, и приходилось прихватывать сумерки. Хорошо, что усы арматуры, торчавшие из моей балки, были не очень толстыми, и их удалось загнуть ударами камня.

Затем я долго обдумывал: как тащить эту балку по сопкам? Старинный способ — катки — показался мне очень уж медленным и трудоёмким. Вместо этого я сделал волокушу из жестяного листа. Она очень даже неплохо скользила по мху и по каменным осыпям тундры. Всего за один световой день, — правда, порядочно измотавшись, — я доставил-таки столб из бетона на берег. Давно я не чувствовал себя так спокойно и так хорошо, как тогда, когда я налегал в постромки, а за мной, скрежеща по камням или повизгивая на прутьях стланика, ползла волокуша из жести. По сути, впервые я делал работу, которая поднимала меня над уровнем бытовой повседневной возни. Ведь мне было нужно не просто согреться да набить себе пузо — этим-то озабочено было любое из обитающих в тундре существ, — но мне нужно было осознать себя человеком. Иначе всё то, что я делал, мало чем отличалось от возни какой-нибудь мыши-пеструшки, шнырявшей во мху.

А крест создавал как бы точку опоры, обозначал ту систему координат, в которой моё существо человека вполне обретало свой истинный вес и значение, и я становился вот именно тем, кем судьбой предназначено было мне быть. “Не случайно же, — думал я, волоча по камням жестяной громыхающий лист, — поморы сооружали береговые кресты по любому серьёзному поводу, от чьей-либо гибели до неожиданного спасения. Даже Пётр I, пережив бурю где-то близ устья Двины, своими руками воздвиг памятный крест. Так что я сейчас, можно сказать, исполняю древнейший поморский обряд. А уж знаком чего — гибели или спасения — станет мой крест, про то одному Богу известно...”

Для перекладины я подобрал сосновое ровное брёвнышко — длиною точь-в-точь в размах моих рук — из тех, что недавний шторм подбросил на побережье. Чтобы оно лучше держалось, я вырубил паз, да ещё и усы арматуры торчали из балки как раз на том уровне, где мне было нужно приладить бревно.

Заминка вышла в другом: нечем было долбить мерзлоту. Топора было жаль — не дай Бог, я бы его расколол! — к тому же на небольшой глубине всё равно начиналась скала. Выход был только один: натаскать кучу камней, и укреплять крест ими.

На это ушло ещё несколько дней. Зато на площадке, и так-то высокой, вырос внушительный холм из больших валунов. Поставить крест вертикально удалось только с третьей попытки. Дважды камни вывёртывались из-под его основания, и крест падал. Но, в конце концов, мне удалось утвердить бетонную балку стоймя и на треть завалить её валунами. Крест встал прочно: он не шатался не только от ветра, но даже тогда, когда я пытался его покачать.

Особо внушительно, даже торжественно крест выглядел снизу, от моря. По ветреной сини ползли облака, и порою казалось, что крест летит по осеннему небу, что в нём куда больше свободы, чем в этих вот скалах, камнях или даже во мне, восхищённо глядящем на этот крест снизу.

Теперь, когда над побережьем высился крест, весь окрестный пейзаж обрёл и законченность, и полноту. Недаром само слово “окрестный” означает как раз те места, что находятся вокруг креста. Словно именно крест был тем самым, чего ожидали и скалы, и берег, и даже крикливые чайки; как будто всему, что безбрежно синело, чернело, рыжело вокруг, не хватало именно этих двух скрещенных линий — не хватало торжественной мысли креста.

Крест стал центром пространства, его точкой опоры. Я все расстояния мысленно мерил теперь от креста; блуждая по тундре или по берегу моря, почти отовсюду я видел его, как самый надёжный и верный ориентир. Возвращаясь, к примеру, из тундры, я держал путь строго на крест. И в ощущении, что я шаг за шагом приближаюсь к нему, я находил порой нечто столь же отрадное, как если бы знал, что меня ожидает живой человек.

Крест стал опорой и точкой отчёта не только пространства, но и времени. Мой день начинался тогда, когда в бледных сумерках перед восходом я мог различить перекрестие его линий и знал, что пора раздуть огонь в очаге да идти к ручью за водой. А конец дня наступал тогда, когда крест расплывался и таял в вечернем тумане, когда мы с ним друг друга больше не видели, и внутренний голос мне говорил: “Ну, что ж — пора, значит, спать...”

Потом я сообразил, что крест может служить и солнечными часами. Конечно, длина его тени менялась — солнце день ото дня поднималось над тундрой всё меньше, — но направление тени в определённое время суток всегда оставалось одним и тем же. Я разложил рядом с крестом белые кварцевые гольши — число камней означало час дня — и мог теперь оставлять наручные часы в хижине: крест вёл меня не только через пространство, но и сквозь время.

Удивительно: как я раньше жил без него? Как я мог что-либо думать и делать без ощущения того, что над островом высится мой деревянно-бетонный двойник? Да, размеры креста неожиданно и символично совпадали с моим собственным ростом и размахом рук; и этот двойник — как мой представитель — поджидал за меня корабли, если я спал или был чем-либо занят.

Но с другой стороны, крест был символом и представителем высших, таинственных сил, ещё недоступных моему разумению. То есть он, мной воздвигнутый крест, одновременно был и я — и не я. И вот именно эта бездонная двойственность символа заставляла меня относиться к нему почтительно, даже благоговейно: так, как до этого я относился лишь к морю и небу, к огню и камням — к тем стихиям, которые окружали меня.

И ещё я испытывал перед крестом что-то вроде стыда, когда вёл себя, скажем, мелко и суетливо. Даже нужду я уже не справлял так небрежно, как прежде, то есть в любом подвернувшемся месте; нет, мне теперь было как-то неловко спускать штаны и присаживаться на виду у креста. Было у меня такое чувство, что он меня видит, что он со своей высоты наблюдает за мной, осуждая или одобряя моё поведение. Когда же я к нему подходил, то всегда мне казалось, что это не крест возвышается передо мною, а я, беззащитный и слабый, стою перед ним, ожидая совета и утешения.

Но самое главное: одиночество перестало меня тяготить. Больше того: одиночества, в его прежнем смысле, больше не было — крест словно разбил его заколдованный круг. Потому что, общаясь с крестом, ощущая его благотворно-живое присутствие, я понял важнейшую истину о себе и о мире. Я понял, что человек, даже если живёт в окружении многих людей, всё равно существует, по сути, один. Никто — даже самые близкие — не разделит глубинную боль и тоску, не возьмёт на себя одинокую ношу нашего личного, обречённого на одиночество существования. Но в то же время человек никогда не бывает один. Даже если он, вроде меня, вдруг окажется на необитаемом острове, он всё равно будет жить в окружении и в незримом присутствии множества лиц, голосов, мимолётных или навязчивых воспоминаний; уединение даже, скорее всего, обострит его чувство единства с людьми, его неразрывную и напряжённую связь с остальным — пусть живущим вдали — человеческим родом.

62

Мне теперь было куда ходить молиться. Это вошло в мою жизнь тоже как-то само собой, частью тех перемен, что случились со мной после болезни. Я не мог начать день без того, чтобы не постоять у креста, не осенить себя крестным знаменем и не прочитать те три молитвы, которые знал наизусть: “Царю Небесный”, “Отче наш” да “Богородице, Дево, радуйся”.

То, что я знаю на память так мало молитв, огорчало меня, но не слишком. В конце концов, стоя возле креста, я молился своими словами и мыслями и чувствовал, что именно эти молитвы помогают поддерживать то состояние душевного размягчения и вместе с тем внутренней твёрдости, которое было так ново и дорого мне.

Всё то, что я чувствовал по отношению к Богу и к вере в Него, я не мог ещё выразить внятно: мне пока не хватало ни мыслей, ни слов. Возможно, когда-нибудь эти мысли созреют и проявятся, и попытка перенести их на бумагу не сделает их слишком плоскими и примитивными. Ростки веры были во мне ещё очень слабыми и молодыми, и мне было страшно нарушить их рост слишком грубой и торопливой попыткой анализа тех перемен, что совершались во мне. Я знал одно: Бог существует. Иначе здесь не было бы ни меня, ни вот этих страниц, ни моих робких мыслей о Нём.

То, что я пережил здесь, на острове, за короткое — и вместе с тем бесконечно-огромное — лето, было моим путешествием внутрь самого же себя и одновременно было выходом за пределы себя самого. Да, вот именно так: обретая себя, я с собой расставался; я чувствовал, как я огромен — и как я ничтожен, как силен — и как слаб, как я ограничен — и как бесконечен...

Жаль, конечно, что я помнил так мало молитв, что опыт столетий и миллионов людей не мог поддержать меня так, как поддерживал бы, если б я ходил в храм и молился вместе с другими. Но ни храма, ни хотя бы молитвенника взять было негде, и приходилось надеяться только на память, на то, что из недр её сможет со временем что-нибудь выплыть. Ведь вспомнил же я, например, эту историю о трёх старцах, которую уж и не помню, где прочитал, но которая так утешала и радовала меня.

Один из архангельских архиереев объезжал вверенные его попечению монастыри. Владыке сказали, что на одном из островов в Белом море живут три старца, и архиерей приказал направить корабль к этому острову. Действительно, там жили старцы, и на вопрос, давно ли они здесь обитают, ответили:

— Давно, батюшка: мы уж и молитвы-то все позабыли.

— А как же вы молитесь? — удивился архиерей.

— А вот так: “Трое вас, да трое нас — помилуй нас!”

Владыка всплеснул руками — какое невежество! — и не пожалел целого дня, чтобы научить старцев хотя бы главной молитве: “Отче наш”.

Потом, уже в сумерках, архиерейский корабль отчалил от острова. И вдруг владыка, стоя на палубе, видит: по морю, как посуху, озарённые светом луны, за кораблём бегут старцы и, задыхаясь, кричат:

— Постой, батюшка: мы опять все слова позабыли!

Потрясённый архиерей поклонился им в пояс и отвечал:

— Господь с вами, святые отцы: уж молитесь, как прежде молились...

Я вспоминал эту историю снова и снова, и хохотал, представляя лицо изумлённо-испуганного архиерея, сознавая при этом, что только истинно крепкая вера может так улыбаться и даже шутить над собой, как она улыбалась в этой чудесной истории из старинной северной жизни. И снова ко мне приходило отрадное чувство того, что всё в жизни совершается правильно, что на остров меня занесла не слепая игра равнодушно-бессмысленных сил, но я здесь оказался с особого рода задачей и целью. Только моя ограниченность, слабость тела и духа не давала мне вполне осознать, в чём же именно состоит тот таинственный замысел Господа обо мне; но в том, что такой замысел существует, и, значит, моё пребывание здесь не бессмысленно и не случайно, — в этом я больше не сомневался.

63

Зима была, что называется, на носу. По утрам на пожухлой листве, на полях ягеля лежал серебряный иней; а камни, покрытые коркою льда, становились предательски скользкими. За ночь пар от дыхания оседал на скальной стене надо мной в виде изморози, а днём изморозь таяла, и стена над моим изголовьем всегда была словно заплаканной.

Навязчиво думалось: что же я буду делать, когда ляжет снег? Ведь я, к сожалению, не медведь, и залечь в спячку у меня не получится. “Хотя как было бы славно, — думал я. — Взять да заснуть, а проснуться весной. Или даже так: заснуть здесь, а проснувшись, увидеть себя снова на кафедре, в институте, и осознать, что всё то, что со мною случилось, было всего-навсего сном...”

Но подобные мысли не могли меня ни обогреть, ни обеспечить едою и топливом. Пока я был ещё жив и способен что-либо делать, приходилось бороться за жизнь. Главное, надо было решить: как себя согреть? Очаг, которым я пользовался до сих пор, был неудобен: дров съедал много, тепла давал мало, да ещё и дымил порой так, что в хижине нечем было дышать.

На развалинах базы я давно уже присмотрел несколько порожних бочек из-под солярки. Они прямо просились, чтобы из них сделать печи, и одну из тех бочек я покати́л в лагерь. Было забавно пускать её вниз по пологим уклонам и видеть, как разбегаются от её грохота лемминги и разлетаются куропатки.

Но сделать печь оказалось непросто. Труднее всего было вырубить дверку. Пришлось рискнуть топором — самым ценным орудием из моего арсенала, и он, в самом деле, после вырубания дверцы оказался так выщерблен, что я так и не смог потом, при заточке, затереть все зазубрины лезвия.

Сделать так, чтобы дверца печи ещё и закрывалась, у меня не получилось. Но в крайнем случае, можно было просто приставлять к дыре лист кровельной жести (он у меня как раз был) и тем усиливать тягу в печи. Пробить внизу бочки отверстия для поддува было нетрудно. Сложней оказалось с решёткой: на что класть дрова? Никаких подходящих железок я пока не нашёл; пришлось поставить в печь два кирпича и класть дрова поверх них.

Конечно, это было до крайности неудобно: кирпичи прогорали и трескались, а чтобы вычистить печь, приходилось переворачивать бочку. Но для начала и за неимением лучшего, подходила и такая конструкция.

Потом я решил прикатить про запас ещё пару бочек. Ведь жечь, даже толстая, неизбежно должна прогорать, а выкапывать бочки зимой из-под снега — не самое лёгкое дело.

Дымоход хотел сделать сначала из кровельной жести. Но потом, очень кстати, на базе попала асбестовая труба, как раз подходившая по диаметру к той дыре, по которой из бочки сливали солянку. “Самовар” у меня получился довольно забавный. Он, конечно, дымил изо всех своих дыр и щелей, но зато так уютно гудел, когда в нём занимался огонь, что казалось: со мной в хижине поселилось ещё одно одушевлённое существо. На верхнем торце раскалившейся бочки кастрюля воды закипала за восемь минут: чего ещё было желать человеку, не очень-то избалованному бытовыми удобствами?

Пока было время и силы, я решил сделать ещё одну печь, и она получилась удачнее. Дверцу я вырубил так, что её можно было подвесить на уголках отогнувшейся жести; и самое главное — я нашёл, из чего сделать топочную решётку. Сбив камнем железные ленты с окна караулки, я загнул их концы и, хоть и криво, но вставил эти ленты внутрь бочки: так было намного удобнее, чем складывать дрова на камни или на кирпичи.

Так что печной вопрос, худо-бедно, но был решён. Тревожило больше другое: а хватит ли дров на полярную зиму? Та поленица, которую я усердно выкладывал без малого три месяца, была вроде бы и высокой, и длинной; но откуда мне было знать, какие ударят морозы и какой предстоит расход топлива?

Как раз, когда я заканчивал делать вторую печь, ветер пригнал с севера льды. Всю ночь штормило, а утром, когда всё неожиданно стихло и прояснело, я вышел из хижины, глянул на море и вместо привычной его черноты, подёрнутой крапом пены, увидел слепящие, сахарно-белые ледяные поля. В первый миг показалось: это отражения облаков, столь же ярких и белых; но облаков на синеем небе было куда меньше, чем белизны на черневшей воде. Мне сделалось не по себе, сердце сильно забилося, и я отвернулся от моря. Лишь когда взгляд отдохнул на привычной, багряной и рыжей поверхности тундры, я смог снова взглянуть на слепящие льды.

Дул крепкий ветер, и с каждой минутой льдин становилось всё больше. Уже не отдельные ледяные поля белели на фоне морской черноты, а напротив: прогалы воды маслянисто чернели там и сям посреди ледяной, протянувшейся до горизонта равнины. Чистой воды между льдами и островом оставалось всё меньше; и пока я смотрел, как с севера надвигаются ледяные поля, мне казалось, что остров вдруг тронулся с места и поплыл в белизну в направлении близкой зимы.

64

Я торопился собрать то из припасов, что ещё можно было сложить или в хижине, или в расщелине рядом — там, где я сделал что-то вроде кладовой. Сушёные грибы и водоросли, ягель и квашеные листья берёзы — вот что составляло основу моего рациона, и я набирал и того, и другого, и третьего так много, как только мог. Надеялся я и на вяленую рыбу: ещё оставались и окуни после летних рыбалок, и ломти лосося, которые я заготовил во время нереста. Неплохо было бы, конечно, запастись и копчёными мидиями, и я продолжал ходить на литораль, как усердный хозяин выходит в поле.

Но с морскими дарами становилось всё хуже. Море стало холодным, креветки пропали, да и мокнуть при сборе мидий уже становилось опасно: больше калорий потратишь на то, чтобы потом обогреться. А очередная простуда, переходящая в пневмонию, могла вообще подвести черту под моей жизнью. “Нет уж, — думал я, — надо быть поосторожнее. Самому торопить свой конец ни к чему: зачем же я столько терпел и боролся?”

Если бы не постоянные хлопоты по подготовке к зиме, в которые я был погружён от рассвета и до заката, я бы, наверное, впал в отчаяние: страх

перед надвигавшейся стужей мог совершенно меня подавить. Ведь даже летнее выживание здесь, на острове, и то потребовало крайнего напряжения сил; что же тогда меня ожидало полярною ночью, в метели, снега и морозы? Вопрос был, скорей, риторическим, но пока смерть ещё не явилась ко мне, я старался хотя бы отсрочить нашу встречу.

В конце концов, все мы, ныне живущие, обречены; но, как ни странно, сознание этого почти никому не мешает ни веселиться, ни обустроить свою жизнь с максимальным комфортом, то есть вести себя так, будто он собирается жить вечно. В нас работают механизмы спасительного отупения, не позволяющие нам ни заглядывать слишком далеко в будущее, ни особо задумываться, и сохраняющие, таким образом, нашу способность жить.

Вот и я, утомившись бродить по жёлто-багряным холмам и распадкам, садился, сбросив мешок, где-нибудь в затишке, поднимал лицо к солнцу, какое-то время сидел, отдыхая, с блаженной улыбкой, и мне почему-то казалось, что я никогда не умру. Солнце грело так ласково, лемминги так дружелюбно, нисколько меня не пугаясь, шныряли в ногах, птица-пуночка так забавно прыгала по кустам голубики, что невозможно было представить: да как же весь этот милый и ласковый мир, наполненный красками, жизнью и светом, вдруг перестанет для меня существовать?

Я вспоминал глуповатую, как мне казалось некогда, мысль кого-то из греков: “Пока есть я, смерти нет; придёт смерть — уж не будет меня; таким образом, для меня лично смерти вовсе и не существует”, — и она уже не казалась мне столь примитивной, а напротив, выражала вот именно то, что я чувствовал. “Где же, — думал я, — эта самая смерть? Вот он я, вот мои руки и ноги, вот мой мешок, от которого пахнет грибами, вот низкое солнце, которое греет меня перед тем, как уйти за холмы, — вот всё то, что я вижу, чувствую, знаю. Но я не вижу, не чувствую и не хочу знать того, что называется этим уродливым словом, я не могу, не хочу верить в смерть. Смерть и я — вещи несовместимые; само моё существование, пока оно длится, изгоняет из мира тот призрак, что называется смертью...”

Вот и пойми после этого человека: как может он, сознавая свою обречённость, ощущать и вести себя так, будто он вечен? И в чём тогда наша ошибка: в том ли, что мы ощущаем себя бесконечными, или в том, что мы себе кажемся смертными? И не лучше ли, раз уж не можешь себе доказать окончательно ни того, ни другого, выбрать то, чего просит душа, то есть поверить в бессмертие?

65

Давно я не спал так сладко и крепко, как в ночь, когда выпал снег. Проснулся позже обычного, встал не сразу и долго не мог понять: что за белый язык лежит возле входа? И почему всё так тихо, таинственно и хорошо?

Когда же я всё-таки встал и осторожно, словно боясь потревожить кого-то, вышел из логова, глаза зажмурились от белизны, что лежала вокруг. Первым чувством, которое я испытал, была всё-таки радость — давнишняя, детская радость от первого снега. Улыбаясь, я сел на корточки, сгрёб ладонями влажный комок, но вдруг осознал, что выпавший снег означает и нечто иное. “Да, снег — это конец”, — подумал я обречённо. Словно холодная чья-то рука вдруг сдавила мне сердце, и оно замерло, а потом застучало так часто, что у меня потемнело в глазах.

Чуть успокоившись, я побрёл туда, куда ходил теперь каждое утро: к кресту. Снег был сырым, и ноги быстро промокли. Окружающий мир, ещё вчера разноцветный и сложный, оказался вдруг чёрно-белым, знобяще пустым, и от этой внезапной его простоты делалось страшно. Даже чайки, и те были словно испуганы: они не кружили, истошно крича, как обычно, не падали к морю за рыбой, а недвижно стояли вдоль береговой полосы, напоминая мишени в тире, вырезанные из картона.

Крест чернел, возвышаясь среди белизны; его переკладина была толстой от снега, налившего сверху. Я попробовал, как обычно, молиться, но странно, что слова молитвы выпадали из моего отвлечённого чем-то сознания.

Стоя перед крестом лицом к морю, я никак не мог понять: в чём же дело, что мне мешает?

Да, пейзаж вокруг переменялся; его белизна, его как бы припухлость, и снежные горы, накрывшие острые спины камней, — это всё отвлекало. Но мешало, я чувствовал, что-то ещё: так, бывает, мешает соринка, попавшая в глаз. Зачерпнув полные пригоршни снега, я растёр им лицо, проморгался, но чувство помехи от этого даже усилилось. Продолжая часто моргать — глаза слезились от холода, от непривычного света и белизны — я опять перевёл взгляд к морю. Какая-то словно помарка светлела вдали, на морской черноте, возле самого горизонта. “Вот она-то мне и мешает, — подумал рассеянно я, и вдруг меня словно ударило током. — Господи, да ведь это корабль!”

Сначала я заорал — хриплым, нечеловеческим голосом! — потом засипел, сорвав связки, и понял, насколько бессмыслен мой крик. То, что я делал потом, совершалось в такой лихорадочной спешке, с такой дрожью рук и с таким колотящимся сердцем, что я запомнил немногое.

Помню, стоял на коленях перед сугробом, в который за ночь превратился сигнальный костёр, и дрожащей рукой просовывал внутрь огонёк зажигалки. Снег таял и капал, и костёр не хотел загораться. Потом я сообразил: если даже займётся растопка — растаявший снег всё равно залёгт пламя. Но когда я, торопясь, разбросал снеговой холм ногами и попытался, оббив палки от снега, сложить костёр заново — дрова оказались настолько сырыми, что было бы чистым безумием пробовать их поджигать.

Откуда я взял сухие дрова? Не помню; наверное, сбегал к хижине. Но помню, что руки, которыми я торопливо выкладывал новый костёр, были в крови: наверное, я не один раз упал, ободравшись о камни.

Посмотреть в сторону моря — виден ли всё ещё на горизонте корабль? — я боялся. Но его серый контур, похожий на пёрышко птицы, так отпечатался у меня на сетчатке, что я видел корабль всюду, куда бы ни посмотрел: и на чёрной скале, и на ворохе сучьев, и даже на той струйке дыма, что поднималась от засвистевшей, как чайник, растопки. И только тогда, когда пламя костра загудело уверенно, сильно, и даже сырые дрова, которые я поставил высоким шатром над сухими, уже не шипели, а просто дымили, — только тогда, задыхаясь от спешки и дыма, я вновь посмотрел в сторону моря.

Да, корабль был ещё виден, он даже, как мне показалось, приблизился, но морской горизонт был затянута молочной дымкой, и уже нельзя было точно заметить, где кончается море, а где начинается небо. Туман надвигался так быстро, что вот уже и корабль скрылся в его молоке, и только рубиновые топовые огни какое-то время ещё тлели в тумане. Но вот и огни побледнели, пропали, и я опустил на снег обессиленный, в совершенном отчаянии.

Мучительнее всего было то, что я не знал точно: успели ли там, на корабле, заметить дым моего костра, пока он был ещё виден? Шанс оставался — вдруг всё же заметили? — но даже если это и так, никто не рискнул бы подойти к острову при нулевой видимости. Мне оставалось одно: дожидаться, пока поднимется ветер и растащит этот проклятый туман.

Идти в хижину не было смысла: здесь, по крайней-то мере, хорошо разгорелся костёр, и я мог обсушиться. Разувшись и бросив шинель на истоптанный снег, я сушил башмаки и портянки, держа их в руках над костром. Лицо обдавало огнём, и пахло палёным: предплечья были в пепельных крапинах от сгоревших волос.

С недоумением я увидел тетрадь, лежавшую на истоптанном, перемешанном с грязью и сажей снегу. Это был мой дневник; интересно, подумал я, как он здесь оказался? Наверное, когда бегал в хижину за сухими дровами, я прихватил и его — для растопки. Да, середина тетради была вырвана, что называется, с мясом; и я теперь вспомнил, как комкал один лист за другим и подкармливал ими чахлый огонь, пока он не разгорелся.

Это странно, но мне стало жалко сожжённых листов — будто с ними сгорела какая-то часть меня самого. И чтобы как-то восполнить потерю, я — сначала обувшись, усевшись поближе к огню и достав из кармана огрызок карандаша, — стал вспоминать весь сегодняшний день, с той самой минуты, когда я проснулся в заваленной снегом берлоге и удивился тому, как вокруг

тихо и хорошо. Листы тетради были сырыми, и мне приходилось подсушивать их над огнём, прежде чем написать ещё несколько строк.

Я написал о том, как вышел из хижины и зажмурился от сиявшей вокруг белизны; о том, как пытался молиться возле креста и как мне что-то мешало; о том, наконец, как увидел корабль и как, в лихорадочной спешке, пытался зажечь сигнальный костёр. Написал о тумане, о том, как сушил башмаки, о том, как увидел вот эту тетрадь на снегу — и моё прошлое вдруг догнало моё настоящее. Писать стало не о чем: прошлое кончилось, а грядущее было пока неизвестно. Это было тяжёлое чувство: как будто вот в эту минуту, когда текст дневника, повествуя о прошлом, упёрся в тупик настоящего, будто в эту минуту закончилась и сама моя жизнь.

И вот я сижу, занеся карандаш над сырой бумагой и с ужасом чувствую: ещё несколько слов, и рука остановится, потому что мне не о чем будет писать. И в эту секунду — вот-вот, уже скоро! — словно исчезну я сам. Что ж: прощай, мой дневник, прощай, остров... Я здесь жил, как умел, и писал, как умел; а что будет дальше — Бог весть...

(На этом рукопись обрывается. — Примечание издателя).

2010–2013